

# Марта Кетро Зато ты очень красивый (сборник)

«Зато ты очень красивый»: АСТ, Астрель; М.: 2009  
ISBN 978-5-17-059099-5, 978-5-271-23720-1

## Аннотация

*«Зато ты очень красивый» – сборник повестей и рассказов о том, что обычные женщины крайне редко влюбляются в обычных мужчин, почему-то предпочитая пиратов, мустангеров, инопланетян и прочих несуществующих персонажей. Устав от поисков чудес, тоскуют, но все равно не перестают желать невозможного.*

*Можно сколько угодно негодовать или смеяться над человеческими слабостями и сомнительными идеалами, но красота всегда будет служить оправданием для нас.*

### **Содержание сборника:**

#### **Марта Кетро**

*«Белая река, зеленые берега»*

*«Киевское «динамо»*

*«Первый»*

*«Добра ли вы честь?»*

#### **Аглая Дюрсо**

*«Девочка с Персиком»*

#### **Глория Му**

*«Жонглеры»*

#### **Наталья Оленева**

*«Письма инопланетянам»*

#### **Улья Нова**

*«Потепление»*

#### **Мария Мур**

*«Жирафа»*

*«Подарок»*

#### **Юлия Рублёва**

*«Путешествия в одиночку. Египет»*

#### **Сергей Узун**

*«Краткие сведения об устройстве этого мира. Предисловие к учебнику мирологии для особенных девочек»*

*«Рыцари»*

*«Романтизм»*

*«Пастораль. Женский день»*

# Марта Кетро Зато ты очень красивый (сборник)

## Марта Кетро

### Белая река, зеленые берега

Мне часто доставались мужчины, которые не умели выбирать. Вот уже десять минут стоит с парой футболок – эту или ту?

Я жду еще немного и говорю – ту. Промедлил секунду и надел ее, вишневую. Тут все просто, надо лишь понять, чего ему хочется на самом деле. Он прикидывает, что зеленая

выглядит новее, но вишневый цвет поприятнее, «саньясинский» такой. Вот и выбирал – не между двумя футболками, а между внутренними состояниями: «я одет прилично» и «я одет, как мне нравится». Первое комфортно, второе свойственно победоносному мачо, которым хотелось бы казаться. Я тоже предпочитаю победителей, поэтому выбираю за него то, что давно уже определено. Собственно, он более всего ценил во мне умение снимать ответственность за легкие пути. Когда, к примеру, он всюду безнадежно опаздывал, назначив пять встреч на день, кто, кроме меня, мог сказать: «Миленький, подумай, куда ты больше всего хочешь попасть, а остальным позвони и отмени. Нельзя же порваться. Хоть куда-то приди вовремя, а других перенеси на завтра», – так, чтобы он услышал и поверил? Совесть его оставалась чиста, и выходил он не разгильдяем вовсе, не умеющим спланировать день, а просто востребованным чуваком, «человеком-нарасхват», которого близкие друзья вынуждены иной раз спасать от перегрузок.

Мне выбирать нетрудно, я люблю принимать решения. Конечно, не только о футболках и стрелках речь, а вообще, по-крупному. Вдруг возникает холод в спине, и пространство вокруг пустеет, как будто глумливые ангелы отлетели и оставили меня один на один с будущим... не знаю, с небом. Просто хлебом не корми, лишь бы почувствовать этот обрыв со всех сторон, воздух, поднимающийся снизу, свободу, возможность. Кажется, я только и живу, когда выбираю. Поэтому переезжаю гораздо чаще, чем принято среди приличных людей, чаще ввязываюсь в подозрительные проекты, чаще совершаю глупости, в конце концов. Поэтому в моем компьютере лежит штук пять «разрывных» писем. Впрочем, в последнее время предпочитаю переживать момент расставания вживую, вместе с пациентом, уж очень это красиво... Свинство, конечно, но момент взаимной боли, когда волевым усилием режешь по живому – тонко, остро, мгновенно, – прекрасен. Страшно? А медленное отгнивание, запах, длительные муки – разве не страшнее? Я не люблю боль, всего лишь точно знаю, как хотела бы умереть.

Но в этот раз вышло так, что я чуть ли не впервые в жизни не искала ни драйва, ни остроты. Его – теплого, нервного, живого – хотелось сберечь для себя надолго. Почти не помню, как у нас начиналось, хотя времени прошло немного. Просто, когда мы встретились, все рухнуло и продолжало падать еще долго, поэтому мелкие детали ускользнули, осталось только ощущение необратимости и ветра в лицо. Собственно, слово «падение» в данном случае не означает ничего дурного – я встретила его на слишком большой высоте, где воздух разрежен, холодно и вода закипает негорячей, и потом всего лишь пыталась вернуться на приемлемый уровень. Туда, где люди живут, не задыхаясь, не покрываясь льдом, где варят суп, в конце концов. Я лишь училась не умирать ежесекундно. Спускалась к теплу, к зеленой траве, ведя его за руку и успокаивая – тихо, тихо, все хорошо, ты молодец.

Всякий раз заново нащупывала ледяные ладони, ворота его тела, и осторожно, кончиками пальцев погружалась внутрь. У нас никогда не получалось просто и быстро потрахаться, только вот так – приближаясь, подкрадываясь. Я обнимала его медленно, мы соприкасались сначала взглядами, потом дыханием, запахом друг друга, теплом, идущим от наших тел, невидимыми волосками, покрывающими кожу, кожей – слегка, плотнее, еще плотнее и сквозь нее, мы входили и совпадали в одно и, не останавливаясь, столь же медленно размыкали тела, не утрачивая ни капли наслаждения, мы расставались, никогда не прерывая объятий в мыслях.

Остальное обыкновенно. Говорить, не подбирая слов; затевать новое дело, точно знать, что он отметит все тонкости, а если нет, я объясню и увижу, как на его лице проступает удовольствие – оттого, что мы опять совпали в ощущениях и в оценках; быть взаимно уязвимыми настолько, что самый смысл причинения боли пропадает, разве только кусать себя за пальцы для отрезвления; ходить, просто ходить на большие расстояния – самое естественное, кроме секса, что можно делать вместе; говорить...

Мы оба были достаточно взрослыми, чтобы поддерживать подобную близость и не называть ее по имени.

У меня не было иллюзий на его счет. Большую часть времени он пребывал в депрессии,

был болезненно самолюбив, амбициозен и необоснованно похотлив. Он предпочитал отдыхать среди грубо нарисованного пейзажа, где вместо солнца – розовая таблетка, под ногами зеленая трава и коричневые грибы, а рядышком протекает небольшая река белого порошка, и сам он обозначен условной фигуркой – кружок, овал, четыре палки, обязательно сигарета во рту (рот, стало быть, тоже есть, и нос, и глаза, а вот признаки пола отсутствуют). В остальное время, между депрессией и бэд трипами, это было большое, доброе, пугливое, сильное и очень красивое существо – примерно как олень, но лживое, что обуславливалось не столько испорченностью натуры, сколько ленью.

И все-таки я – молча, неназываемо, вопреки здравому смыслу, – я его любила.

\* \* \*

С некоторых пор он все время очень занят, с прошлого четверга мы не виделись. И вот он освободил для меня вечер, и я пришла в гости. Как будто по делу – принесла новый плагин для фотошопа. Позади у него трудный день, и ночью намечалась срочная работа, поэтому я старалась быть всего лишь нежной.

Он лежал поперек кровати, прикрыв глаза, а я осторожно прикасалась к его лицу, чувствуя, как под пальцами уходит напряжение мышц, разглаживается складка между бровей, веки перестают дрожать и судорожно сжатые челюсти расслабляются, и губы становятся мягкими и приоткрываются так, что можно наконец поцеловать. Ну вот, ну вот. Но я не целую, я спрашиваю:

– Что, душа моя, что? Скажи мне.

Он никогда не мог устоять против тихого страстного шепота: «Скажи мне, скажи», – возможность, закрыв глаза, рассказать все, вообще – все, возбуждала.

На этот раз он молчал долго, слишком долго, и я испугалась. Обычно он чувствовал себя дерьмом, когда заказчик снова и снова не принимал картинку. Или очередной галлюциногенный марафон затягивался на неделю. Или не удавался случайный секс (ну еще бы, мы слишком далеко зашли друг в друга, чтобы какая-нибудь левая девочка смогла ему дать как следует). В таких случаях он исчезал на несколько дней, работал или просто пытался «побыть один», чтобы вернуть себе ускользающее чувство независимости. А потом, конечно, звонил и ждал меня, скорчившись на кровати, и я приходила – и разворачивала его, как скомканную бумагу, стараясь не повредить, а только разгладить, распрямить складки и заломы.

Но сегодня было что-то другое, и я снова спросила:

– Что-нибудь случилось? Не пугай меня, пожалуйста. Я очень боюсь тебя потерять, безумно. Ты вот молчишь сейчас, а я успела такого напридумывать себе... Может, у тебя живот болит или еще что, а у меня уже сердце выскакивает.

Он поднялся, подошел к шкафу, достал белый пакетик и жестяную, до невозможности стильную банку для сахара. Высыпал на блестящую крышку немного порошка. Выровнял дорожку пластиковой визиткой («бля, они мне только для этого и нужны») и вдохнул через обычную коктейльную трубочку свою порцию «скорости». Остаток собрал пальцем и втер в десны.

Я ждала. Он прикрыл глаза и прислушался к себе. Потом сказал:

– Вот ведь фигня какая. Я влюбился.

Я дурочка такая. Самоуверенная дурочка. Наверное, целую минуту еще надеялась: он хочет сказать, что любит меня. За те месяцы, пока мы вместе, он никогда не говорил о любви, потому что это «слишком громкое слово, понимаешь?» Ну и ладно, я не люблю форсировать события: «я хочу тебя, мне плохо без тебя, мне хорошо с тобой» – это почти то же самое, просто он пока не понял. И сейчас я подумала, что он опять подавился признанием и пытается вот так по-дурацки сказать «я люблю тебя».

– В кого? – Дурак, скажи «в тебя», и все еще можно будет исправить.

– Ну, она учится в...

Дурак, дурак...

– Она красивая?

– Нет. Не знаю. Не такая, как ты... У меня так впервые. До этого столько раз думал – вроде влюбился... а вроде нет... А теперь, когда она появилась, точно понял, что всё...

Дальше можно не слушать.

Я почувствовала не жар, как обычно от пережитого страха, наоборот, к горлу подбирался холод. И больше не было ничего. Не было стандартного, как соль-перец-горчица, набора из обиды, ревности и горечи. Только мгновенная острая боль и долгая медленная печаль – я отчетливо увидела целый океан печали, даже белый барашек различила на волне.

И я стала медленно-медленно отстраняться.

Потому что очень высоко над ним, над океаном, неслись облака и было солнце. Просто сию минуту я не видела, но уже чувствовала кожей – и тепло, и ветер. Впервые за три месяца стало легко – я больше не боялась его потерять.

– Я тебя все-таки потеряла.

– Ты что, бросишь меня из-за этого?

– Сам-то как думаешь? Теперь невозможно.

– Ерунда, у нас-то ничего не изменилось!

– Я так хотела твое сердце, жаль, что не судьба.

– Я не хочу никого терять, ты нужна мне, ты мне очень нужна. Я просто не ожидал, не понимаю, как это произошло, уже неделю или дней десять... Мы ведь можем продолжать встречаться, я ей рассказал, как много ты для меня... Она не против.

А я тем временем оделась, подкрасила лицо (глаза, которые я увидела в зеркале, хотелось бы забыть, или пусть это были бы чужие глаза, какой-нибудь актрисы вроде Вивьен Ли, но не мои, не мои, пожалуйста...) и слила пару файлов со своей флэшки в его компьютер. В конце концов, я же обещала.

...Ты-то мне теперь нужен – чужой? Был хоть не мой, но и ничей, свободный, а теперь – всё, краденое солнце. «Не против» она, сучка... В другой раз я, может, и поборолась бы, но не за него. Не могу делать ставкой тех, кого люблю. Хитрить, выкручивать, обольщать – нет уж. Такой тебе будет мой прощальный подарочек, миленький: твой собственный выбор между мной и ею останется в силе. Ты ведь решил для себя, раз про любовь заговорил, ну так и я решила.

Потом он проводил меня к метро, молча и очень быстро. Я некоторое время искала карточку, нашла, коротко поцеловала его куда пришлось (пришлись губы), сказала «Счастливо», улыбнулась и прошла через турникет.

Во мне не было капли мужества, как это может показаться. Я сосредоточилась только на том, чтобы глаза не плакали. Стоило отвлечься, и я начинала плохо видеть людей и не сразу могла понять отчего. Закончилась очередная короткая счастливая жизнь. Не реветь невозможно; наверное, потребуется целая неделя, чтобы выплакать мой личный океан.

Но я снова там, в разреженном воздухе, где холодно жить, зато не страшно умирать, потому что опять выбрала – сама.

## Киевское «Динамо»

В конце октября в Киеве выпал снег. Клены еще не успели окончательно облететь, поэтому на широких золотых листьях лежали белые легкие шапочки. Я как раз засмотрелась на голубое, не по сезону чистое небо, сияющее сквозь поредевшую крону, когда долговязый спутник задел ветку и на мою физиономию свалилась приличная порция снега.

– Прости, маленькая, – сказал он и поцеловал горячими губами в мокрую щеку.

Конечно, я простила.

Он был...

О, как я люблю эту паузу, придыхание, которое случается, когда начинаешь оживлять давно утраченную красоту. Он был – и это уже очень много. Он был – запах, глаза, волосы,

член, руки, зубы, голос. Он был – интонация, смех, запрокинутая голова. Он был – короткая остановка сердца, долгая сладость. Я успеваю кожей почувствовать все, что подлежит простому перечислению, а потом выдыхаю и продолжаю.

Он был похож на гориллу, которая умерла и стала ангелом. То есть и волосы золотые, и взгляд светлый, и рост, и тело – все очень красиво, но «тень обезьяны» никуда не делась: низкие надбровные дуги, плоский нос, характерные челюсти, широкие покатые плечи и длинные руки. Эдакая одухотворенная сексуальность, обусловленная прихотливой линией жизни: до двадцати лет он жил на Донбассе, был боксером, брил голову и носил спортивные штаны круглые сутки, а потом вдруг отрастил кудри и стал художником, поступил в училище, начал рисовать вычурные картинки со множеством мелких деталей и читать Кастанеду. Да, и еще много танцевал, иногда подрабатывал манекенщиком, недавно принял православие и при всем том сохранил на редкость здоровый и веселый нрав.

Конечно, я потеряла голову от его пластики, силы, душевной бодрости и кубиков на животе, а мистицизм легко извинила, с кем не бывает в наши годы (в момент встречи ему было двадцать четыре, а мне двадцать шесть). Одно плохо – моя подруга Тиночка, которая нас познакомила, шепнула: «Мы еще не спали, но...» При естественной разнужданности нравов у меня были принципы. Нельзя отнимать добычу друга, надо ждать, пока не наиграется. Целую ночь мы танцевали втроем, просто танцевали, едва прикасаясь кончиками пальцев, смеялись и пили портвейн, а потом я вернулась в Москву и позабыла на время и кудри, и кубики.

За зиму я получила пару Тиночкиных писем с приветом от Сеньки (да, имя у него самое что ни на есть хулиганское), а больше никаких упоминаний. На прямой вопрос последовал ответ: «Нет, мы остались друзьями». Не сложилось, значит. А вот теперь моя очередь – и как только потеплело, я купила билет на поезд.

Я помню, как это бывает: ты врываешься в город вместе с горьким ветром железной дороги, вместе с запахом весны, с отчетливым ощущением победы, будто уже завоевала всё и всех и есть три дня на разграбление, а потом нужно ехать дальше, дальше... Ну кто же устоит перед таким напором? Тина встретила меня на вокзале, отвезла к себе, а когда я вышла из душа, Сеня уже ждал – большой, светлый, покорный, жаркий. Взял за руку и повел к себе в общагу. Эскизы показывать.

Вахтерша взглянула косо, на мгновение стало неприятно – сколько ж таких он сюда перетаскал, – но это быстро прошло. Ведь и я не девица. И он совершенно явно хочет меня, а я – его, а страсть всегда горит красиво и чисто, что бы там ни было до и после.

И комната его оказалась такой же светлой и большой. Солнце лежало на полу, а по углам стояли две кровати и рабочий стол. Полки, паркет и подрамники золотились, пахло деревом и легкой пылью.

– С тобой кто-то еще живет?

– Парень один, он уехал сейчас.

На кровати или, может, на подоконнике? Они широкие и теплые, правда завалены бумагой, но смахнуть недолго... Я повернулась и посмотрела ему в глаза – ну?!

Сеня засмеялся – просто так, от избытка жизненных сил – и выдвинул на середину комнаты стул. Потом еще один. Поставил их примерно в полуметре друг от друга, посадил меня, притащил стопку эскизов, сам сел рядом и стал показывать работы: вот этой два года, а это свежая совсем, тут я про индейцев обчитался, а вот кельты... Минут через сорок мы пошли обратно к Тиночке.

Уж сколько лет миновало, а я все помню то сложное чувство. Не понравилась? Не захотел, не смог? Подцепил заразу какую-то? Тогда я на своей шкуре почувствовала, что такое «когнитивный диссонанс» – явные признаки мужского интереса, как я его себе представляю, присутствуют, а вот поди ж ты!

Тина открыла нам дверь, одним взглядом окинула его, неизменно счастливого, оценила

интересное выражение моего лица, кивнула – то ли нам, то ли сама себе – и пригласила войти. От расстройства я сказала усталой и прилегла на кровать – дремать и думать, что же со мной не так.

Тиночка села поработать, а Сеня покружил-покружил, да и улегся со мной. Забрался под плед, обнял.

У меня было легкое платье, а у него длинные быстрые пальцы и нешуточная настойчивость. Но мне совсем не хотелось на виду у Тины овладевать ее несостоявшимся любовником. И вообще, что-то здесь не то, подумала я, и отодвинулась. Потом еще немного отодвинулась и еще... Чуть не упала с постели и с некоторым сожалением встала.

Потом мы встречались еще несколько раз, всегда на людях.

Вот он проездом в Москве, нежно целует меня на Киевском вокзале, уговаривает сесть в поезд и поехать с ним, а уж там... Я млею в его объятиях и почти соглашаюсь, но после фразы «Сможешь пожить у моих друзей» внезапно остываю. «Сможешь», а не «сможем».

Вот мы опять оказываемся вместе у кого-то в гостях, он весь вечер держит меня за руку, но уходит ночевать в соседнюю комнату. Утром я тихо одеваюсь, заглядываю к нему и некоторое время смотрю, как он роскошно спит на спине, разметав длинные волосы и смуглые руки. Ухожу.

А вот я просыпаюсь со своим новым любовником в Харькове. Мы путешествуем, и в огромном старом доме наших приятелей-художников я встречаю Сеню, все такого же красивого, игривого, как морской котик, и по-прежнему ничейного. Мы опять что-то пьем, флиртуем, много смеемся, и я наслаждаюсь его открытыми взглядами и тайными прикосновениями. Утром меня будит солнце, но я не спешу открывать глаза, слушаю, как за окном орут птицы, как дышит рядом мой мужчина, как еще кто-то сопит... Странно, ведь нас положили в комнате одних, неужто хозяйская псина забрела? Я украдкой смотрю сквозь ресницы и вижу около двери Сеню. Он стоит в пяти шагах, не сводит напряженного взгляда с наших тел, прикрытых простыней, и часто-часто двигает правой рукой внизу живота – вниз-вверх, вниз-вверх. Честное слово, мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять происходящее, – нелегко оказалось соотнести счастливый рассвет и прекрасный Сенин образ с этой жесткой яростной дрочкой. Нелепость ситуации была так велика, что я опять сомкнула ресницы и немедленно заснула.

Второе пробуждение было приятным, но самым обыкновенным. Ближе к полудню мы вылезли из постели и пошли искать хозяев. Они сказали, что Сеня уже уехал, передавал огромный привет. Утренняя сцена казалась нереальной, и я в конце концов решила, что это был сон.

Но встречи наши закончились. О Сене я думаю крайне редко. Разве что увижу по телику киевское «Динамо» в бело-голубой форме, тогда по ассоциации вспоминаю снежные шапочки на фоне чистого неба, и в голове мелькает: «Ну что-о-о ж ты так, Се-е-еня-а-а...»

## Первый

Первый мужчина, кого я любила больше себя, родился в Баку. В принципе в нем всяких кровей намешано, к тому же художник, воспитание интеллигентское, хайры до попы, но горяч был по-восточному. Я по малолетству потеряла голову на много лет вперед, весила тридцать восемь килограммов и писала горестные стихи, когда он уехал в свой дурацкий Израиль. Был ли он евреем, никто не знает, но вписался к ним, подделав фотографию еврейского надгробия на могиле своей бабушки. Впрочем, фамилия у него экзотическая и был он обрезан, правда не знаю, как еврей или как мусульманин. Он пытался торговать матрешками на Арбате, но весь бизнес сводился к методичному пьянству, курению травы и съему разнообразных дам. Прошло неприличное количество лет, но у меня всякий раз

пресекается дыхание, когда в четыре утра он звонит из своей дурацкой Канады (уже!) и я слышу: «Солнце, это я, да-а-а...»

Начиналось примерно так: я шла по Арбату в невозможной мини-юбке и мечтала о чем-нибудь холодненьком и посидеть. Стоял расплавленный полдень 28 июня такого года, когда на Арбате еще не открыли всех этих кафешек, но были ресторан «Прага» в одном конце и булочная с аптекой в другом. И вот где-то в районе Вахтангова он меня и окликнул. «Какие глаза», – сказал он, глядя на мои ноги. И пошел следом. На голове у него был красный флаг в качестве банданы, а верхних зубов, напротив, не было, и девушке в белых туфельках на каблуках это казалось невероятно шокирующим. В «Бисквитях» мы познакомились, он спросил, чего бы мне хотелось, а я и сказала. И он это сделал прямо там, за углом. Сейчас ничего странного, а в начале девяностых достать из-под земли тень, прохладное белое вино и столик под аркой было чудом.

Все остальное он сделал чуть позже, в ночь с 4-го на 5 июля, когда родители неосторожно оставили меня дома без присмотра. Он приехал в наш сонный подмосковный городок с полупустой бутылкой вина (но мне она конечно же казалась наполовину полной) и в очень приличной бандане, которая сейчас лежит в нижнем ящике шкафа под трусиками вместе с его портретом и письмом на желтой бумаге, где «ХОЧУ» и «ЛЮБЛЮ» написаны вот такими буквами. Среди ночи он как-то нашел меня, избежав традиционного пролетарского мордобоя, перелез через множество заборов и даже, кажется, форсировал маленькую речку, за что и был вознагражден – сначала на диване, а потом на столе.

На следующий день в шесть утра я поняла, что люблю его, о чем тут же и сообщила по телефону. Надо отдать ему должное, он ни капельки не удивился, потому что в это время квасил с друзьями и к моменту звонка удивить его чем-либо было невозможно.

Благопристойность является основополагающей частью моей натуры. Воспитание, ничего не поделаешь. И потому общение с этим человеком казалось непрерывным праздником и преступлением одновременно. Я шла по Арбату на неизменных своих каблукках, а он полз рядом, иногда падая перед каким-нибудь местным художником и рассказывая ему, что картины его никуда не годятся. Периодически ввязывался в драки, которые прекращал следующим образом: садился на землю со словами «как я устал» – никакого понятия о настоящих мужских играх. Он мог сожрать недоеденную кем-то котлету на задворках кафе, вступив за нее в неравный бой с бомжом или собакой. Он пил шампанское с утра и водку на ночь. Он курил траву. Он, говорят, мог ударить женщину. Но ему было тридцать лет, он знал все на свете и был так хорош в постели...

Сюжет развивался как положено. В одиннадцать утра я входила в съемную берлогу в Братеево и сбрасывала туфельки, потом ничего не помню, а потом приходила в себя под душем в семь вечера, и он отводил меня к метро. С лицами у обоих творилось невероятное: таксисты возили нас бесплатно, арбатские бабушки угощали черной смородиной, а какие-то чудовищные уголовники провожали меня по ночам до дома, «чтобы никто не обидел». Бог любил нас, причем до такой степени, что однажды повезло даже слишком, и ему выдали наконец визу в дурацкий Израиль (не богу, конечно, а милому моему). И жене его.

История уложилась в семь месяцев и пятьдесят две встречи. Тридцатого января он улетел из Москвы, а я приготовилась любить его всю жизнь.

За десять дней до отъезда я сбежала из семьи, чтобы провести в его объятиях все оставшееся время. Но особой пользы из совместного пребывания извлечь не удалось: я неостановленно рыдала, а он от ужаса пил столько, что впервые в жизни начались трудности с эрекцией. Я всерьез думала, что умру – не оттого, что у него не стоит, а от горя. Впереди не было ничего, отчетливое светлое пространство до 30 января, а за ним только отчаяние. Я еще не умела радоваться тому, что имею, поэтому каждый из оставшихся десяти дней причинял невыразимую боль, от которой невозможно было отказаться, потому что боль – это все-таки жизнь, а дальше меня ожидала гибель. Я плакала, засыпая и просыпаясь, плакала, заваривая чай, сидя на горшке, разговаривая, занимаясь любовью и запекая в духовке курицу. Как он это вынес – непонятно, все-таки сильный был мужчина, что бы там ни говорила его жена. И

вот наступил этот день, мы поехали на вокзал, откуда ходил автобус до аэропорта. Я отчего-то решила, что больше плакать не должна, и всю дорогу держалась – пока ехали в машине, пока шли к остановке, пока я потом возвращалась в метро, пока ехала в электричке домой. Ну то есть я была уверена, что держусь, потому что на самом деле слезы, оказывается, лились совершенно самостоятельно. Я просто перестала их замечать, как бесконечный дождь. Зато чуть позже разучилась плакать на много лет вперед. Собственно, в безуспешной борьбе со слезами я пропустила самый момент прощания. Он поцеловал меня, сказал что-то вроде «До свидания, малыш, я вернусь» и ушел. Мне почему-то показалось важным повернуться и тоже пойти не оглядываясь, но через десять шагов я поняла, что больше никогда его не увижу, и метнулась назад («метнулась» – это очень громко сказано, я путалась в огромной искусственной шубе, и снегу намело по колено, но сердце мое – да, метнулось). Но он уже исчез в толпе, и я не видела куда. Позже я готова была отдать (только кто бы взял?) несколько лет жизни за последний взгляд в его спину, пропущенный – из гордости? для красоты прощания? чтобы сохранить спокойствие? В любом случае, ничего этого соблюсти не удалось, я как клушка бегала по площади, и лицо женщины, продававшей шерстяные носки у входа в метро, забыть невозможно – столько на нем было понимания-насмешки-сочувствия-и-«где мои семнадцать лет».

Через два месяца слезы закончились, еще через четыре я вспомнила, что есть нужно каждый день, еще через полгода перестала болеть, лет через пять влюбилась снова. И только тогда опять научилась плакать.

И ныне я сожалею, что не отпустила его ровно в тот момент, когда отвернулась, уходя. Искусство любить, которому я продолжаю учиться, пока свелось для меня к следующему простенькому закону: нужно принадлежать любимому существу всецело, пока оно рядом, но прощаясь – проститься навсегда. «Во-первых, это красиво...»

Иногда по ночам я включаю аську и вижу его зеленый цветок. Ничего не пишу, просто киваю. После того как уже нельзя сказать «я люблю тебя» все остальные слова не имеют особого смысла.

Но я всегда киваю.

\* \* \*

Цветы в моих вазах умирают парами, соблюдая традицию нечетности остающихся. Сегодня увяли две розы, вчера – две хризантемы, три дня назад – тоже розы (их было пять, завтра я выброшу последнюю). Напоминает бесконечные игры в классики: «Мак? Мак. Мак? Мак. Мак? Дурак». Последняя роза всегда остается в дураках.

Я бы не вспомнила, но мне подарили конфеты «Моцарт», купленные за форму коробки – сердечком.

Это случилось летом, в девяностые. Помните, я писала – «когда он уехал...» Когда он уехал, наступила весна, а потом лето. Если все начинается в июне, а заканчивается в январе, естественным образом рассчитываешь, что мир станет скорбеть вместе с тобой вечно, а он вместо этого предательски возрождается в апреле. Приходится жить по собственному календарю, беря пример с христиан. В начале Великого поста, например, весь крещеный мир выступает из Назарета вместе с Иисусом в долгий путь к Масличной горе, мимо садов и виноградников, через реки и селения, чтобы в конце пути умереть и возродиться к новой жизни. И я в свое время начинала год со дня знакомства, с 28 июня и, опираясь на верстовые даты наших пятидесяти двух встреч, брела к 30 января, переживала ритуальную смерть и пять черных месяцев – до начала нового цикла.

Тем более от христианского Бога я тогда торжественно отреклась: он обманул меня, создал нежной, красивой и умной, дал счастье, а потом отобрал. Ну на фиг это было делать?! Я обиделась.

Мой личный бог был ко мне щедрее, чем ваш, и чаще являл чудеса – в виде внезапных ночных звонков (несколько раз в год) и писем (раз в пару лет, в среднем). Как-то рассказал, что нашел работу в газете «Маарив». Уж не помню, каким образом (как вообще находили информацию до Интернета?), я отыскала адрес израильского культурного центра и поехала туда, чтобы увидеть газету с его именем в выходных данных. К сожалению, это оказалась какая-то религиозная организация, которая не держала светской прессы.

Однажды я получила толстенькую бандероль с фотографиями (он, он с виски, он с телкой, он с трубкой) и непонятным иерусалимским сувениром. Были там и газета, и адрес московской редакции с инструкцией. Мне следовало поехать на улицу имени Двадцати шести бакинских комиссаров, найти офис, спросить (допустим) Мишу и передать ему письмо для моего милого.

Я поехала. Было жарко, асфальт плавился, но в офисе, находившемся на первом этаже жилой девятиэтажки, стояла прохлада и сизый сигаретный дым. Миша (допустим) Соколов ни на мгновение не удивился, будто к нему каждый день приходят юные бледные красотки и прерывающимися голосами просят передать письмо неведомому израильскому сотруднику. Он усадил меня за стол, дал бумагу и ручку.

Миша, насколько я помню, был такой небольшой убедительный мужчина, излучающий естественную сексуальность: то есть он с тобой уверенно и просто разговаривает о делах, но в итоге вы почему-то трахаетесь (нет, этого не произошло, я просто пытаюсь объяснить типаж). И Миша немедленно предложил мне поработать у них в газете.

– Ну, – туманно сказал он, – нужно звонить по разным телефонам. Вот попробуй.

Я взяла список номеров и набрала первый – не отвечал. Представьте: я смертельно влюблена, мой личный бог, улетевший за два моря, явил медленное Чудо Почтовой Связи, а теперь наклеивалось Чудо Связи Побыстрей, голубь Миша брался отнести листочки лично в руки тому, чье имя я не могла назвать, не разрыдавшись. Это большое счастье, поверьте на слово, поэтому я готова была набрать любой номер, какой скажут. Я смотрела на Мишу влажными глазами и выбалтывала историю своей любви, а он печально кивал.

– Хочешь конфету? – Он достал из ящика почтовую коробку с Моцартом на крышке. – Это самые лучшие израильские конфеты, очень дорогие.

Я съела только одну, больше не посмела. Они были великолепны. Ничего вкуснее в жизни пробовать не доводилось – карамель и сливки, сладость и нежность, шоколад и слезы, которые украдкой смаргивала, стыдясь Миши.

Письмо дописано, конфета съедена, пора уходить.

– У нас вечером одно рабочее мероприятие намечается, за городом. Раз ты теперь наш новый сотрудник, должна присутствовать. Приходи к шести, поедем на дачу по делам.

Вообще, я урожденная подмосковная мещаночка – сердце нежное, слезы близко, порывы чисты и часты. Вполне могла поверить в любую ерунду, убедив себя, что дело благородное. Один раз, например, почти согласилась работать девушкой по вызову – из-за литературного восприятия действительности. В те времена, когда все постоянно что-то продавали и обменивали вагон мармелада на тонну никеля, я думала только о том, где бы достать денег на билет в Израиль, и как-то раз на Арбате познакомилась с сутенером. У него было худое лицо и оттопыренные уши – вот и весь обобщенный портрет порока, который я могу припомнить. Он сказал, у них эскорт-услуги, бизнесмены выбирают девочку по каталогу, ей семьдесят процентов, фирме тридцать, на билет заработаешь за месяц. Я вдруг подумала, что это не страшно, это как Сонечка Мармеладова – ради любви... Опомнилась, только когда сутенер, розовея ушами, сказал, что сначала нужно с ценой моей определиться и придется «проверить» – ему, менеджеру по персоналу и директору.

Или однажды маленький пожилой прибалт, тоже на удивление ушастый, пристал на дорожке Александровского сада, долго говорил о Набокове и, ага, о любви, а потом смущенно предложил помощь – сто тысяч рублей за просто так. Точнее, за несколько минут

в его машине. (Не то чтобы я такая прекрасная, а деньги такие дешевые, давно дело было.)

Хранило мою невинность одно только: из-за спины впечатлительной мешаночки вовремя показывалась рязанская толстопятая девка и весело говорила что-то вроде: «Чиво?! Да хрен тебе!», а если и она не помогала, то просыпался цыганский прадедушка-кузнец – ничего не говорил, только показывал в волчьей улыбке крупноватые белые зубы.

Вот, в этот раз даже скалиться не пришлось, покивала тихонько и ушла. Письмо, если не ошибаюсь, так и не передали.

Потом однажды наступил двухтысячный год, я завела себе компьютер, Интернет, почтовый ящик и первым делом написала ему, тщательно срисовав электронный адрес с визитки: «Учусь писать письма». Отправила, попыталась залезть еще на какой-нибудь сайт, с диалапа получалось плохо, поэтому собралась уже отключиться, но перед выходом зачем-то проверила почту. А там ответ: «Давно пора» – или что-то вроде.

Вот и представьте, если бы вы полжизни провели в молитвах, а потом лягнули между делом «О боже...», и ОН такой тут же небесным гласом: «Ась?» Ведь можно обделаться от полноты чувств.

И когда стало легко обмениваться словами, боль в моем сердце начала таять, рассасываться, уходить вместе с письмами и текстами. В магазинах появились коробки с Моцартом, но я научилась спокойно проходить мимо. Теперь мне подарили одну – на вкус ничего особенного, зато в жестяном сердце я буду хранить кораллы. На доньшке написано: «Germany», интересно, Миша мне солгал тогда или их теперь всюду делают? Или, может, они фальшивые?

\* \* \*

Раньше я пыталась быть сухим цветком, легким и плоским, который мужчина может заложить в книгу и взять с собой в самолет, увезти из Азии в Европу, вытряхнуть на подушку гостиничного номера и там забыть. Но не получалось, у меня есть груди и бедра, куда уж, ни одна книжка не закроется. Похожа на восьмерку, когда стою, и на бесконечность – лежа. Неудобная, как орех под простыней, и описывать меня нужно неудобными словами, такими как нрав, гнев или грех, а хотелось бы других, приятных и плавных – доб-ро-та, кра-со-та, без-мя-теж-ность. И я предпочитаю теперь сухих и тонких мужчин, которых нетрудно заложить в книгу, и все чаще вспоминаю госпожу Стайнем: «Мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели выйти замуж». Люблю заниматься цветами, могла бы, пожалуй, взять кого-нибудь в самолет и точно понимаю сейчас, почему они – тогда – не брали.

### **«Добра ли вы честь?»**

– Ты не устал? Скоро придем. – Оленька забежала вперед и заглянула ему в глаза, как маленькая собачка.

Она всегда любила мужчин, с которыми можно почувствовать себя маленькой, но все-таки хотелось бы казаться девочкой, а не щенком. Только с этим почему-то не получалось сохранить достоинство. Казалось бы: она старше, успешнее, умнее и, пожалуй, талантливее. А в нем был покой, покой и благородство, темная царская кровь текла в его венах, а лицо годилось для монет. Звался Роджер – разумеется, кличка. В честь веселого флага, не потому что отличался жизнерадостностью или чем-нибудь напоминал пирата (ну там алой повязкой или деревянной ногой), а исключительно из-за худого рельефного лица, которое иной раз походило на череп – смотря какой свет, конечно. Оля точно знала, что освещение может многое сделать с человеком, но этого как ни высвечивай – красив. Чаще

всего она называла его «ах, Роджер».

Ах, Роджер, какой же ты красивый, ах, Роджер, как я тебе рада, ах, Роджер, а-а-ах, – иногда это звучало чуть насмешливо, как дворовая песенка про пиратов и креолок, но чаще в ее голосе было столько нежности, что пошлость имени исчезала и оставался только долгий сладкий выдох.

Они подошли к арке, в которой пряталась дверь, ведущая в клуб. Оленька отдала Роджеру здоровенный букет, предназначенный для подарка, и поправила волосы, растрепавшиеся от быстрой ходьбы (чтобы за ним, длинноногим, угнаться, она всю дорогу прибавляла шаг и временами произвольно пускалась вприпрыжку, подворачивая каблук). Роджер хотел было открыть дверь, но Оленька остановила его.

– Подожди. Подожди. – Повернулась, посмотрела в лицо очень внимательно. Обежала взглядом безупречный силуэт, снова взглянула в глаза. – Ах, Роджер...

– «Какой же ты красивый», да, я знаю. Пойдем уже. – В голосе прозвучало некоторое раздражение.

Он не любил напоминаний о своей красоте, хотя бы потому, что это косвенным образом сводило все его достоинства к внешности. У него было полно талантов, но люди при знакомстве запоминали его не в качестве художника или дизайнера, а исключительно как «того красавчика». Несмотря на то что с Олей они встретились на профессиональной вечеринке, его представили ей таким тоном, будто он стриптизер или что-то в этом духе.

– А вот Роджер, он тебе понравится...

Да, понравился.

Они были симпатичны друг другу, и к тому же их связывали общие интересы. Оля тоже занималась интерьерами, но заметно успешнее – такой маленькой и хлопотливой женщине почему-то с легкостью доверяли и просторные загородные дома, и стильные квартиры, иногда клубы. Время от времени она передавала ему работу, оформление витрин в небольших магазинах, например. Но чаще клиенты настаивали, чтобы именно Оля занималась их заказами, и порой это выглядело просто оскорбительно: они будто смотрели сквозь Роджера и договаривались исключительно с ней. Иногда казалось, что люди условились сделать из него альфонса. Знай свое место, красавчик, мамочка все уладит.

В конце концов их отношения не то чтобы испортились, но остыли. При очередном Олином успехе он бодро говорил: «Молодец! А я опять в заднице», – а она столь же бодро отвечала: «Ничего, тебе повезет!», и фальши в этом становилось все больше и больше.

И вот сейчас они наконец-то отворили неприметную дверь клуба, в который его одного вряд ли пустили бы, и вошли.

Из солнца и пыли они переместились в темный душистый воздух. Пряные запахи, пятна цветного света, которые только сгущали тени в углах, подушки, цветы и шелк. Роджер с отвращением подумал, что самые дорогие заведения старательно копируют атмосферу борделей. Но это было конечно же несправедливо. Хозяин вложил настоящие деньги и получил именно тот стиль, в котором его душа нуждалась. Оля, будто угадав мысли, обернулась и сказала:

– Опиум, понимаешь? Опиум, а не кокаин.

Речь шла конечно же о цепочке ассоциаций, а не о реальных наркотиках, но Роджер почувствовал, как стены чуть дрогнули, а сознание спуталось и поплыло. Может быть, все дело в музыке – длинные деревянные дудки постанывали, барабаны то звенели, то рассыпались сухим горохом, и какие-то трехструнные инструменты изредка добавляли мучительную нелогичную ноту. Музыка была ненавязчивой и почему-то сплеталась с запахами, поднимаясь к потолку отчетливыми струями. Роджер тряхнул головой, сунул букет под мышку и взял из Олиных рук красное вино, отпил приличный глоток и вернул бокал.

– Пойдем, познакомишься с Анной.

Пока отыскивали именинницу, Оля рассказывала:

– Она одеждой занимается, успешная тетка. Смотри, какой день рождения себе

закатила. Ста-а-арая моя подруга.

– И сколько ей лет примерно?

– Да ты с ума сошел, ее не вздумай спросить. Взрослая уже, постарше меня. Наверное, сорок или около.

Все они были взрослые в масштабе его двадцати девяти, но Роджера это не беспокоило. Какая разница, сколько человеку лет, если он интересный? Оле за тридцать, но с ней весело. Ну, было весело. Роджер почти не замечал изменений, но, переспав недавно с хорошенькой двадцатилетней девчонкой, вдруг понял, как ему не хватало этой юной тонкорукости, легковерия и восхищенных глаз. Оля тоже иногда так смотрела, но в ее взгляде было многовато оценивающего, будто на редкость хорошее мясо перед ней, какое уж тут уважение. Поначалу это заводило, а теперь все чаще хотелось ясноглазой покорности и чистоты.

А Оленька кружила между гостями, то ли искала, то ли путала следы, вдыхала звуки, слушала запахи, ведя за руку свою длинноногую ускользящую нежность, которую придется завлечь сейчас в самые дебри и там оставить. *Потому что не по силам оказалось кормить это счастье кусками собственного сердца* – именно так она думала и чувствовала, слишком красивыми, глупыми словами, которые стучали в ней, просились на уста, но некоторые вещи нельзя произносить.

Вот и кончилась тропинка, вот Анна стоит. Красивая.

– Поздравляю дорогая, это тебе. – Оля посмотрела на Роджера, и он протянул рыжей высокой женщине цветы, которые порядком надоели ему за последние пятнадцать минут.

– Это? – двусмысленно и ласково улыбнулась она.

– Это Роджер, он тебе понравится. Дизайнер, – поспешно прибавила Оленька, поймав его злой взгляд.

– Рада познакомиться, меня зовут Анна. Хотите перекусить? Там еще что-то осталось...

Он кивнул и послушно отступил к столу с причудливой нарядной едой. Оля было устремилась следом, чтобы взять большую тарелку и наполнить ее тартинками, рулетами, крошечной сладкой выпечкой и бисквитными корзинками с клубникой – для него. Но вовремя удержалась.

Женщины взглянули друг на друга и почти хором сказали: «Отлично выглядишь!»  
Рассмеялись.

– Как ты?

– Ты как?

Опять засмеялись и слегка обнялись.

– Ладно, расскажи про него. Идиотское имя.

Оленька почуяла острый коричный запах её духов.

– Говорю же, дизигнер. Двадцать девять. *И поцелуй его горьки, как дым.* Работы мало, женщин много. *Очень много, Аннушка, и слишком юных, чтобы сердце мое не болело.*

– И вы с ним...

– Ну было дело. *Как будто солнечные драконы раскрывают крылья, когда он склоняется надо мной.*

– А теперь?

– Считаю его подарком. *Княжеским. «Добра ли вы честь?»*

– Чего-то здесь нечисто. Я тебя знаю, просто так из рук не выпустишь. Порченный какой, не иначе, жеребец троянский?

– А-а-аннушка-а... за кого ты меня принимаешь? Дерьма не держим. Но у меня осенью куча выставок – Дортмунд, Мадрид, заказов несколько. До зимы некогда вздохнуть, а с мальчишками возиться надо. Проще отдать в хорошие руки. *Десять лет прошло, а я помню, а ты? Помнишь Игоря – простое имя, незаметное лицо, а я отчего-то любила. Тогда ты сама забрала, без спроса. Теперь твоя очередь носить мою боль, баюкать по ночам, прикладывать к груди.*

– Маленькая ты сучка. – Анна сказала так нежно, что обидеться было невозможно.

– Вот и заботься о ближних! – Оленька помолчала, чтобы следующие слова прозвучали весомо. – Аннушка, я бы очень хотела для тебя счастья. *Такого же счастья, как у меня, Аннушка. Я всякий раз плачу, когда он уходит. Потом возвращается, и я смываю чужие запахи с его волос. Дарю ему шелковые платки – он не понимает их цены, – завязываю ими его глаза во время любви, а в следующий раз замечаю на них чью-то помаду.*

– Спасибо, Олюш. – Анна снова обняла ее, теперь почти совсем искренне.

Они посмотрели на него, как две взрослые кошки.

– Правда, хорош? *Вот сейчас я вижу, как он нагибается над этой дурацкой тарелкой, и сердце мое разрывается. Я хотела бы скормить ему свою жизнь. Чтобы он бродил по моему дому, невозможно красивый, босой. Уходил, когда захочет, – лишь бы только возвращался. Ни о чем не спрашивать, только смотреть. Но однажды он не вернется.*

– Очень. Я оценила, хотя мне сейчас тоже не до мужиков. – Но глаза Анны стали сладкими, как инжир.

Оленька покивала и отошла, побрела по тропинке, и птицы за ее спиной клевали крошки, по которым можно было бы вернуться назад. Звуки плели душистые сети, запахи шептались и жаловались, но она уходила. И только у самой двери ее на мгновение задержали.

– С кем это наша новорожденная флиртует? – спросила какая-то женщина в скользком золотистом платье.

Оленька обернулась.

Они стояли очень близко, лицом к лицу, ее губы были около его шеи, она что-то шептала, прикрыв глаза, а он слушал, изредка отпивая из бокала.

– Это Роджер, ему двадцать девять, и поцелуй его горьки, как дым.

А потом она ушла.

## **Аглая Дюрсо Девочка с персиком**

Здравствуйте, Доктор.

Вы, конечно, меня не помните. Но чтобы не ранить Вас этой бестактностью, сразу скажу: Вы знали меня как Крошку Мю. Когда-то в детстве Вы читали скандинавскую сказку про зверушек, и там была эта Крошка Мю. Она была до того невыносимой, что ее просто хотелось прибить. Но поскольку она была чрезвычайно мала, ее можно было в любой момент утопить даже в заварочном чайнике.

Если бы Вы помнили все мои подлости, Вы бы рвали все мои письма не читая.

Доктор, я хочу Вас утешить. Мы тоже многого не помним. Например, мы не помним, ради чего мы все это затеяли и чего добивались.

То есть сначала мы хотели быть беспечными, бесполезными и бесстрашными. И были таковыми. Потому что мы были уверены, что не будем одиноки и никогда не опаскудимся, чтобы пожениться.

Я говорю о нас с Персиком и об одном иллюзионисте, Доктор. Вы, естественно, не в счет, потому что вы никогда не питали иллюзий относительно одиночества.

Мы не боялись быть счастливыми, потому что ничего не знали о крестике на ладони, под средним пальцем. Об этом крестике нам сказал иллюзионист, но это было намного позже.

Доктор!

Это было задолго до иллюзиониста. Это было пятнадцать лет назад.

Мы жили в доме на Маяковке, на третьем этаже. Это была квартира великого мецената и покровителя искусств Морозова. Там были обои из тисненой свиной кожи, потолки с деревянной резьбой и ванна на львиных лапах. Это все было аутентичное, морозовское. А потому щербатое и кое-где зацементированное и заткнутое газетами.

В двери в ванную было окошко. Оно было в виде бабочки, но однажды я проткнула его рукой.

Телефон мы провели из парикмахерской на первом этаже. Воду грела колонка, но она была старая, вдобавок ко всему многие забывали сначала включить воду, а потом прибавить газ. Из-за этого колонка часто выходила из строя, а однажды, когда Персик решил потушить пальто в ванной и опять забыл перекрыть газ, колонка затряслась, напоенная паром, и чуть было не снесла башку Панку отлетевшей передней панелью. С тех пор Панк грел воду только в кастрюльке, а Персик мылся в тазике.

Отопление нам изредка отрубали работники ДЭЗа, но мы платили им пятьдесят рублей, и они опять что-то к чему-то приваривали.

У меня была комната с эркером и антресолями над дверью. На антресоли я перебралась спать после того, как меня испугала девушка Анна. Она расталкивала меня несколько раз по ночам, чтобы рассказать свои сны. Снилось ей всякая дрянь, я бы такое даже не стала смотреть.

Анна жила через комнату, в соседях у меня была возлюбленная пара, и все остальные жаловались, что страшно спать, потому что по ночам кто-то воет.

Это называлось сквот. Потому что прав и обязанностей жить в этой квартире никто не имел. Мы там жили исключительно из любви к искусству жить.

Никто точно не скажет Вам, Доктор, сколько нас было. Поэтому ротация была, как в метро в час пик. Мы не успевали мыть чашки, и многие пили чай из грязных, отрывая их от стола. Но потом уходили домой по-человечески поесть и вымыться и больше не возвращались.

Девушка Анна жила точно. Она занималась изучением сновидений. Она даже ездила в Дюссельдорф на конференции по люсидным снам.

Еще жил музыкант, у него вся комната была завалена примочками и стоял усилитель «Маршалл». Это было самым неприятным. Потому что музыкант дико фальшивил, а «Маршалл» все это простодушно усиливал до невыносимости. Но в остальном музыкант был милым человеком и притом очень хозяйственным. Он варил нам суп из сырков «Лето».

Еще жили два буддиста. Он на Арбате стучал в барабан, она свято верила в реинкарнацию, чтобы понравиться ему. Она его убедила, что в прошлой жизни он был ее сыном. Она его даже мыться одного не отпускала.

Панк работал в экспериментальном театре. Они там пели внутренними голосами, чтобы передавать эманации через пол – через пятки – прямо в душу к зрителям.

Еще с нами жил один заморыш хиппенек. Вообще-то он был сыном известного япониста, но сбежал из дома от невесты, привезенной ему отцом из командировки.

Эта невеста написала ему поутру танку:

Луна в зените.  
Маленький краб взбежал по ноге.  
Я теперь не одна.

Заморыш хиппи страшно негодовал, потрясая листком. Кричал, что он, конечно, некрупная особь, но так оскорблять себя не позволит.

Были еще два приличных человека, но они свалили через неделю, прихватив мой марокканский чайник, а также содрав весь уникальный паркет в гостиной, где они ночевали.

А еще с нами жил один человек, которого все принимали за иностранца. Потому что он ничего не понимал. Он не понимал, как надо соединять провода, чтобы загорелся свет. Он не понимал, как подключаться к телефону парикмахерской, он не знал, как пользоваться горячей водой.

Кроме того, он всегда улыбался, что бы ему ни говорили. Он улыбался, даже когда его

чуть не отп...дили за разгром газовой колонки.

Он улыбался, кивал и удалялся в людскую. Потому что он жил в людской. Это комната, которая выходила дверью на кухню, а окном в коридор.

В людской он рисовал балерин. Это были самые страшные балерины в мире. Если бы мы тогда не упивались искусством жить и собственной бесполезностью, мы бы запатентовали мультик покруче «Хэппи три френдз».

Этот человек увешал страшными балеринами все стены в людской, поэтому заходить туда и п...дить его при таком скоплении чудовищ никто не решался.

Вообще-то никакой он был не иностранец.

Это был Персик.

Он был художником. И в комнате у него были не только балерины, под кроватью он прятал портрет. Он доставал его только тогда, когда приходила я. И это естественно, Доктор. Потому что это был мой портрет. Персик его доставал, сажал меня в кресло и тайно дорисовывал.

Дело в том, что Персик владел давно утраченным искусством семислойной живописи. Это искусство уже забыли к времени голландцев, им владел только Леонардо. Но Леонардо умер, а Персик был жив, поэтому он хотел передать секрет, пока не поздно. И он передавал его мне.

Я сначала сопротивлялась. Потому что я тогда еще продолжала хотеть быть бесполезной и беспечной. Но Персик сказал, что семислойка теперь на фиг никому не нужна. И я согласилась.

Я, конечно, могла бы безбоязненно передать секрет Вам, Доктор (ведь Вы все равно забудете), но это очень долго. У меня нет настроения тратить на Вас сегодня так много времени. Вся штука, Доктор, в том, что семислойка долговечна. И лица, Доктор, на таких картинах светятся изнутри. И никогда не стареют – не покрываются морщинами кракелюров.

Я приходила в людскую со своей клеткой. В клетке у меня жила синяя лампочка для ингаляций. Я всегда хотела иметь кого-то, но у меня была аллергия на шерсть всех животных и перья птиц, поэтому я завела себе лампочку. Я всегда носила лампочку с собой, чтобы не быть одинокой.

Я настояла, чтобы Персик написал ее на заднем плане.

Картина называлась «Девочка с Персиком».

На картине, выполненной в технике семислойной живописи, сидела Крошка Мю, которая исполняла в технике семислойной живописи портрет Персика. Эта картина была галереей бесконечных зеркальных повторений Крошки Мю и Персика. Кроме того, она была апофеозом битвы с одиночеством.

Так что уточняю, Доктор: Персик был гениальным художником. Но у него на ладони тоже был крестик, а это практически то же самое, что быть одним из хэппи три френдз.

Возможно, именно это нас и объединило, но мы об этом не догадывались. Мы думали, что нас объединяют беспечность, бесполезность, страх одиночества и амбиции. (Я вам как-то говорила, Доктор, что Персик хотел стать великим художником. А я хотела проходить сквозь стекло.)

Меня парило, Доктор, что нельзя прижаться ближе, чем кожа. Мне казалось, что, если я научусь просачиваться сквозь стекло, все изменится и одиночество будет побеждено.

Видите ли, Доктор, у нас были все основания биться с одиночеством. Потому что, пока мы тайно отсиживались в каморке при кухне, в квартире шла сепарационная война. Буддисты замотали свой холодильник цепью с замком. Потому что им казалось, будто кто-то надкусывает у них творожные сырки. Хиппенка, сына япониста, выгнали, потому что он курил траву, а это могло навлечь гнев милиции. Панк высказался в том духе, что нам хиппенок дороже милиции, но за это Панку запретили петь через пол, потому что его эманации не давали Анне спать и видеть люсидные сны.

Музыкант орал через свой усилитель в одиночку, потому что он назначил себя

начальником. Ведь он варил нам супы из сырка «Лето» и договаривался с ДЭЗом.

Он запретил нам водить людей с улицы, нарушать внутренний распорядок и портить имущество.

Так мы прожили еще полгода.

Мы с Персиком, если не писали «Девочку с Персиком», уходили из сквота. Мы обошли весь город пешком, потому что Персик боялся спускаться в метро, он там задыхался. А по улице он очень бодро ходил. Он ходил в галереи – пристраивать своих балерин. А я ждала его на улице. Я, пока ждала, тренировалась проходить сквозь телефонные будки. Мы возвращались поздно, из своей двери высовывались буддисты, они говорили, что в доме опять воняет растворителем и они будут жаловаться музыканту.

Однажды ночью мы украли сырок из их холодильника. Мы украли его из принципа. Потому что мне ненавистны непроходимые преграды. Кроме того, у Персика был гастрит. Он жевал старый сырок, похожий на кусок мела, и говорил, что победил военный коммунизм и распределяловку по полезности.

А потом Персик закончил «Девочку с Персиком». А я – свою часть диптиха, «Персика с Девочкой», соответственно.

Персик нарисовал десять чудовищных балерин на одной картине. У всех балерин были безобразные лица обитателей сквота. Но самое безобразное лицо было у ангела, который над балеринами парил. Эта картина называлась «Мертвый ангел-хранитель». Это был приговор попытке жить беспечно, бесполезно и быть счастливыми.

Пока Персик рисовал эту картину, я прошла через стеклянную дверь на балкон (неудачно) и через дверцу шкафа в комнате буддистов (неудачно).

Персик вывесил картину ночью на кухне.

Это был конец.

Потому что никто не хочет признаваться, что он бездарен в искусстве жить.

Как я уже говорила Вам, Доктор, именно в то утро я проткнула рукой стекло в аутентичном окне в ванную. К сожалению, именно в это утро черти принесли девушку Анну из Дюссельдорфа, она выскочила из своей комнаты, еще не распакованная с дальней дороги, и довольно хамски поинтересовалась, зачем я это сделала. Я ей сказала, что мне приснился сон, КАК именно проходить сквозь стекло. И это была чистая правда. Девушка Анна окончательно вышла из себя, и я ее понимаю. Нет ничего оскорбительнее для человека, который изучает сны, как узнать, что другим тоже снятся сны. Тем более что единственный сон Анны, который можно было принять всерьез, был про то, как к нам вваливается ее отец, крупный чиновник из Подмосковья. Этот сон был вещим, потому что ее отец действительно приехал через два дня и увез Анну со скандалом.

Но в тот раз она завелась не по-детски. Персик улыбался.

Анна собрала на кухне всех выживших обитателей. Нам припомнили все, включая сырок и весь стеклянный бой. Персик кивал и улыбался как мудак.

Музыкант сказал, что они практически построили идеальное общество. Но поскольку это общество демократическое, то нам дается последнее слово.

Персик с дебильной улыбкой эльфа сказал:

– Я считаю, что каждый имеет право жить в утопии...

Теперь уже музыкант удовлетворенно кивнул и улыбнулся (он, наверное, представил себя Сен-Симоном).

Персик кивнул ему в ответ и продолжил:

– ...нельзя запрещать Крошке Мю проходить через стекла.

(Идиот. Ведь нам некуда идти!)

Нам действительно было некуда идти. Мы пошли на Патриаршие и разместились на скамейке со всеми своими пожитками. У меня на коленях была клетка.

Я сказала:

– Персик, я умею жарить картошку. Я могу быть тебе полезной. Давай поженимся.

Он сказал:

– Нет.

Он заставил меня выпустить синюю лампочку в пруд. Потому что одиночество (сказал Персик) – это не приговор и тюрьма. Одиночество – это свобода. И надо этому учиться.

Куда он тогда пошел, я знаю, Доктор. Но тогда не знала.

Я смотрела ему вслед и плакала от восхищения. Потому что он владел искусством жить, оставался бесполезным и знал, что никогда не опаскудится, чтобы жениться.

Он еще обернулся и посоветовал мне попробовать проходить не через витрины, а через зеркала. Потому что надо стремиться не к другим, а к себе.

У него была действительно улыбка эльфа, Доктор.

Но он мне врал.

Через неделю он уехал к Тому. Потому что Том был ценителем прекрасного и жил в стране, где из искусства еще умудряются извлечь пользу.

Том купил всех балерин Персика и позвал его в Лондон (я об этом ничего не знала, Доктор). Потому что Персик и сам был прекрасен, как я Вам неоднократно сообщала, Доктор. Но Вы забыли.

Теперь Вы понимаете, Доктор, почему я Вам пишу? Из вредности. Я же Крошка Мю, как я Вам уже сообщала.

Я хочу Вам все напомнить, как бы Вы ни были забывчивы. Потому что сама мечтала все забыть. А не получается.

Мне было некуда деваться, Доктор.

Я превратила бесполезное искусство жить в бизнес, потому что я не умела делать ничего полезного.

Я ставила балет на площади в Милане. Я проводила показы прет-а-порте из скотча, пакетов для мусора и пенопласта. Я устраивала салюты под окнами дома для инвалидов в Ростове-на-Дону. Я построила четырехметровый замок из коробок от телевизоров и облицевала его пасхальными яйцами. В доме одного нувориша из Новопеределкина я сделала витражи из расписанных лаком для ногтей пивных бутылок. Я научилась танцевать на катушке от строительного кабеля. Я раскрашивала золотом пластмассовые муляжи сердец и мозгов из магазина учебных пособий и выгодно продала их одному берлинскому сумасброду, с которым мы трахались на площади у Бранденбургских ворот. И я бы трахалась с ним всю жизнь, если бы он не вздумал меня фотографировать. Потому что я терпеть не могу, когда из моего ноу-хау бесполезности извлекает пользу кто-то другой.

Этот человек считал меня сумасшедшей и страшно боялся.

Другой человек считал меня авантюристкой.

Еще один человек сказал, что я спекулирую на чужих невоплощенных желаниях быть расп...дьями.

Еще кто-то сказал, что я – памятник дилетантизму.

Один человек сказал, что он видел, как я летаю.

Но никто не сказал, что я умею проходить сквозь зеркала.

Потому что я этого не умею.

У меня не получилось выйти из стеклянного лифта.

Я не смогла пройти сквозь стеклянную дверь на балконе в Панама-Сити. И все очень смеялись над моей неуклюжестью, потому что подумали, что я подумала, что дверь открыта.

Я врезалась в витрину магазина «Прентан». И менеджер прикладывал мне лед ко лбу и причитал: «Ах, мадам, какое недоразумение, что реле не сработало».

Заметьте, Доктор, меня в первый раз назвали «мадам». Что тоже грустно.

Но дальше будет еще грустнее. Я сама не люблю писать эту часть письма. Но напишу. Из вредности.

Однажды мне позвонила девушка Анна.

Она сказала, что была на симпозиуме психоаналитиков в Лондоне и видела там Персика.

Он прекрасно продается, они с Томом отжигают, хотя Том полысел, но все равно они первые в гей-тусовке. Она сказала, что Персик передавал мне привет и спрашивал, как там зеркала. Наверное, шутил (добавила Анна).

Как там зеркала? Как там зеркала?

Я представила, как Персик шутит, и мне от этого стало тошно.

Я подошла к зеркалу (решительно, мне Персик, когда еще не шутил, говорил, что моя беда в нерешительности). Решительно.

И я там увидела несколько седых волос. И несколько морщин вокруг глаз.

И расхотела проходить. Потому что мне не понравилось это зазеркалье.

Оно было лишено совершенства и не спасало меня от одиночества.

Я решила оставить хотя бы половину морщин и седых волос по ту сторону стекла.

Я стала каждый вечер ходить в цирк. Это был маленький цирк на Юго-Западе, и там было не стыдно плакать. Я сидела и плакала от зависти.

Там прятали платочки в пустой руке. Там исчезали в шкафах. Там угадывали карту в кармане. Там глотали лезвия и огонь. Иллюзионист был очень обаятельный.

Через месяц он выдернул меня из зала на арену, развернул мою ладонь и спросил:

– Хотите, я проткну вас насквозь иголкой?

– Нет, – сказала я. – Отпилите мне лучше голову.

– Все русские женщины так склонны к жертвам, – нашелся иллюзионист.

– Да, – сказала я (на самом деле я просто считала самым оптимальным хранить голову с рефлексиями и страхом одиночества отдельно, в морозильнике).

Ночью иллюзионист признался, что увидел на моей ладони крестик. Он сказал, что у меня была бы рука гения, если бы не этот крестик. Это крестик лузеров. Такие люди в последний момент наступают на шнурок и разбивают башку, поднимаясь на сцену за «Оскаром».

Иллюзионист сказал, что уже тогда решил, что меня не отпустит.

Меня это в принципе устраивало. Потому что у иллюзиониста был вентилятор, через который он умел проходить.

Иллюзиониста это тоже устраивало. Потому что у него на ладони был крестик.

У него, Доктор, был один серьезный недостаток. Он знал, из чего состоит чудо. Он знал, куда девается платочек. Он знал, как Копперфилд выбирается из водопада, а Гудини – из цепей. Он знал, почему из икон текут слезы, знал, чем закончатся детективы. Он знал прогноз погоды на завтра. И еще он знал, что просочиться сквозь стекло невозможно.

Он все это знал доподлинно и очень от этого страдал.

Еще, Доктор, он знал, что каждый человек изначально одинок.

Он говорил мне об этом каждый день на протяжении четырех лет.

И когда эти четыре года закончились, он сказал, что не надо строить иллюзий. И лучше принять все как есть. То есть одиночество. Хотя он очень от этого страдает.

Я подозреваю, он просто боялся, что я пройду сквозь стекло и разрушу его стройную концепцию мира.

А я, Доктор, к этому времени научилась исчезать в коробке, выходить из шкафа и доставать монеты из пустого стакана.

То есть от меня была несомненная польза.

Но иллюзионист сказал, что люди не умеют меняться. И не надо пытаться быть полезной.

Хотя он очень сожалеет.

Он так сказал, Доктор, и пошел спать.

Я посидела полчаса, причитая: «Он же обещал, он же обещал!» (хотя он ничего не

обещал). Причитая: «Он лишает меня тепла!» (хотя он был холодным, как брикет свежемороженой трески), причитая: «Он разбил иллюзии» (хотя он препарировал их, как патологоанатом).

А потом я утерла соплю, заставила себя прекратить это мерзкое бабство, взяла в руки молоточек для отбивания котлет и разбила все, что билось.

Не билась только ракушка, которую я привезла из Панама-Сити. Я взяла ее с собой.

Потом я нашла в старой книжке телефон Анны и позвонила. Я спросила, как до нее доехать. Она назвала адрес сквота на Маяковке.

Дорогой Доктор. Прошло пятнадцать лет, и это сразу бросилось в глаза.

Квартиру мецената Морозова было не узнать.

Там были белые стены из гипсокартона, эргономичная мебель и термовыключатели.

Анна выкупила эту квартиру и стерла следы лузеров в искусстве жить.

Она сразу сказала мне, что окна небьющиеся.

Я кивнула.

Я спросила ее, не осталось ли каких-то вещей. Например, каких-нибудь картин.

Она ответила, что если я о живописи Персика, то он уже полгода как ее забрал.

Но видно, она не очень-то продается. Потому что Персик раз в месяц стреляет у нее деньги.

Я сказала, что не верю.

Я сказала, что Том непотопляем.

Анна сказала, что Том непотопляем, но при чем здесь Том.

Я дала ей номер иллюзиониста. Потому что он тоже считает, что не надо строить иллюзий.

От нее я узнала адрес Персика.

Доктор! Сейчас я расскажу все коротко, потому что даже таких, как Вы, надо щадить.

Персик жил в сторожке какого-то писателя, в Переделкине. Но сразу становилось ясно, что сторожит писателя он плохо. Потому что у Персика было одутловатое лицо сильно пьющего человека. А пьющие – они небдительные.

И еще он ничего не слышал. Приходилось кричать или показывать жестами. Потому что денег на слуховой аппарат у него не было.

Он немного пожаловался на Тома. Потому что Том бросил его на произвол судьбы. Хотя ничего не предвещало.

Я сказала, что надо учиться быть одиноким. Что одиночество – это не тюрьма, а свобода.

Я хотела не уязвить его, а как-то поддержать. Но я очень вредная, у меня всегда получаются гадости.

Персик сказал, что учился быть свободным. Но он переехал в неблагополучный район. И ему однажды крепко врезали. Он пролежал в больнице, а потом его отправили на родину (бесплатно).

Но он с тех пор ничего не слышит.

Я сказала, что мы купим ему аппарат.

Он сказал: «Не надо». Он сказал, что каждый человек имеет право на иллюзии.

Потом он сказал, что мою часть диптиха он уничтожил. Я кивнула. Потому что на моей части главным все-таки был Персик, рисующий Крошку Мю. И там он был прекрасен, как эльф.

Каждый человек имеет право пребывать в иллюзии, что он не меняется.

Я сказала, что я поеду, но завтра привезу ему денег.

Он сказал: «Не надо».

Он сказал: «Я хочу сделать тебе подарок».

Он принес свою картину «Девочка с Персиком».

Какая прекрасная была эта девочка. Ее глаза были полны решимости!

Мне тоже захотелось ему что-то подарить.  
Я порылась в сумке и нашла только ракушку.  
Персик прижал ракушку к уху.  
Это было кошмарное зрелище. Я сказала: «Мы купим тебе слуховой аппарат».  
А он сказал: «Море шумит».  
Он стоял и улыбался дебильной улыбкой эльфа.  
Я взяла картину и пошла. Потому что у человека нельзя отнять иллюзий. Потому что иллюзии являются единственным двигателем души.  
Персик вышел меня проводить, потому что лил дождь, а он выскочил с зонтом (это было очень по-английски).  
Больше я в эту сторожку не возвращалась, потому что было не к кому.  
Когда я подъезжала к городу, мне позвонил иллюзионист.  
Он огорченно сказал, что зря я все перебила. Особенно монитор. Потому что в него влезть я бы все равно не смогла. Потому что он двенадцатидюймовый.

Я приехала к Анне и попросилась в людскую. Она сказала, что там вообще-то хозблок с сушилкой. Я сказала, что сойдет.  
Я проработала всю ночь.  
Я покрасила лампочку в клетке. Я заклеила фон фольгой, и это было похоже на зеркало.  
Я вклеила красное сердце, газеты, стразы, перья.  
И я покрасила название.  
Я дала этой картине другое название, Доктор.

Никто, кроме Вас, Доктор, не знает, что такое подлинное одиночество.  
Даже мы по сравнению с Вами – глупые абитуриенты.

Эту картину я могу подарить только Вам. Потому что Вы не помните, как прошла эта жизнь. А я напому.  
Я напому, как лил дождь, а Персик метался вокруг машины с зонтом, пытаюсь прикрыть холст. А мимо проехала «Газель» и уделала нас талым снегом.  
Я жестаи спросила у Персика: «У меня лицо чистое?»  
А он ответил: «Чистое. Все волосы – в говне, а лицо – чистое. Просто удивительно».  
И мы смеялись как подорванные.  
Как будто у нас не было крестов на ладонях.  
Мы беспечные, бесполезные, счастливые, потому что мы не боимся одиночества.  
Доктор! Вы можете проснуться завтра утром и не вспомнить меня.  
И Персика. Как будто нас у Вас никогда не было.  
И ни капли о нас не пожалеть.  
Я знаю, на медицинском языке это называется тотальная прогрессирующая амнезия.  
Мне об этом рассказывал другой доктор.  
Но на самом деле это идеальная формула одиночества и пофигизма в одном флаконе.  
Потому что каждый день можно начинать заново в абсолютной свободе от вчерашних страхов.  
Поэтому забирайте картину.  
Она теперь называется «Жизнь не удалась, и х... с ним».  
Завтра я опять напишу это письмо и принесу его Вам.  
Ждите меня у запасного выхода. Пусть Вас не смущает, что он заперт на замок.  
Потому что меня это не останавливает.  
Я буду в пачке, куртке и джинсах.  
Меня зовут Крошка Мю.

**Глория Му**

## Жонглеры

*я в проезжающем трамвае  
себя увидел  
счастливый путь – машу рукой  
не надо слез и оправданий  
прощай родной  
А. М.*

Выбиралась из Москвы, как муха из сметаны, – нет, мне не было вкусно, безнадежно мне было, беспросветно и тошно.

Досадные мелочи, крупные неприятности, внезапная работа – никто, никто не хотел меня отпускать, даже те, кому я ну совсем не могла пригодиться.

Последние сутки вязкого кошмара – восемнадцать часов монтажа в одном из самых толстосумых московских клубов, ночь работы – праздник, который всегда, римские каникулы, блестящие от масла красотки, картонные улыбки цирковых, утомленные роскошью гости...

«А что сейчас будет? Фейерверк? Ну на, выпей с нами!» Нет, никакой из меня холуй, польский гонор толкает под локоть – выплеснуть виски в лицо, а в голове вертится инструкция для службы безопасности клуба: с гостями обращаемся бережно, бережно с гостями обращаемся... Я медленно выдыхаю сквозь стиснутые зубы, улыбаюсь, отрицательно качаю головой, легко пробегаю пальцами по клавишам пульта – и вокруг райской птицы, поющей на сцене, расцветают фонтаны искр.

А в шесть утра я выныриваю из-под земли на Курском вокзале, который бьет в лицо меня – распыленной пятерней вони.

Они кажутся особенно некрасивыми сейчас, серым утром, – серые, угрюмые, навсегда усталые лица, скверная одежда, скверные манеры, скверный, невыносимый, оглушающий запах толпы, тяжелый ее гул.

И я успокаиваю себя, как нервную лошадь, – ну-ну, девочка моя, это всего лишь люди.

Закогтив билет, уношусь дальше в день – обычная суeta перед отъездом, звонки, извинения, ненужные подарки забытым людям, кошка, сбившаяся маленьким злобным комком на ворохе моей одежды, отчаянно някающая мне розовой акульей пастью с крошечными острыми зубами.

Я беру ее в руки, чернокурую бестию, прижимаю к себе мою недобрую девочку, но нет, обещания лживы и бесполезны, для нее завтра – не существует, скоро – пустой звук.

Вечер. Ночь.

Мой братец, похожий на гнома-переростка, на бородатый пельмень, на добродушного громилу из злого мультика, на дикого кабана-оборотня, на...

Отсутствие сна играет со мной злую шутку, превращает реальность в хрупкое кружево театральной декорации, окружающих – в персонажей комиксов.

Брат провожает меня в недлинное, запоздалое путешествие. Перекладывает рюкзак из одной руки в другую. Поглаживает мимолетно по плечам. Беспокоится.

Из подсвеченной синим, дымной, просторной полумглы выползает поезд, раскладывает на перроне плотные желтые квадратики света из окон.

Поезд тоже выглядит бутафорским – густо и грустно вздыхает, вздрагивая облезлыми боками, словно сделанными из тонкой, непрочной фанеры, ветхий, грязный и разве что не перехваченный скотчем.

Проводницы под стать, в свете фонарей – синюшно-бледные, в свете вагонных ламп – восковые, отечные, с глухими темными подглазьями, словно истасканные, истосковавшиеся, безобидные от бессилия упырицы.

Я еду в плацкарте – других билетов «сегодня – на сегодня» не было. Мы проходим в вагон, пусто, пусто, тусклый свет ложится копотью на лица, на стекла окон, и только впереди

яркой нотой – дребезжащий, скандальный визг. Старушечий голос мечется в тесной коробке, бьется бражником в стены, ему вторит разбитый, пьяненький тенорок, и хрипло ухают матерные басы – ругаются трое.

– Кажись, у тебя в купе. Ну ты везун. – Брат кидает мне рюкзак, протискивается вперед. Воин, защитник, а как же. – Так, я не поёл, шо за дела?

– Ты чё погнал? Ты ктобляваше? – вскидывается лысый, испитой, измятый бас.

– Сядь. – Брат несильно толкает его в грудь, и тот плюхается на полку. Сидит тихо.

Связываться с моим братом не стоит – это сразу понятно. Есть такое украинское слово – «кремезный». На русский его сложно перевести. Крепкий, плотный, коренастый, сильный, кряжистый – вот это все вместе и есть «кремезный». Мой брат как раз такой – не с кубиками на животе, а с валиками на боках, как немолодой злодей из американской глубинки в фильмах класса «Г», из тех злодеев, что, круша мебель, вышвыривают друг друга из бара, а после удара табуреткой по черепу трясут брылями, роняя слюни, поднимаются и, покачиваясь, снова лезут в драку.

– Бабусю, чи вас эта быдлота обижаєт? – Брат переходит на суржик только в двух случаях – когда прикидывается «безвинным страдальцем, терпящим от любви» перед своей красавицей-женой, или когда собирается конкретно на кого-то наехать.

– Ой, сыночка, так это ж пьянь, пьянь окаянная, и как таких только в паровоз пускают, я удивляюсь! Уж ты наведи порядок... Ты мужчина военный, я вижу... – Старушка придирчиво осматривает братца – ботинки-милитари, зеленые штанцы фасона вьетнамитской войны, натовский свитер, короткий рыжевато-седой бобрик – золото с серебром. – А это ж пьянь! Пьянь подзаборная, тьфу! – Высунувшись из-за браткиного плеча, словно из-за дерева, картинно плюет в обидчиков. – Пьянь! И пьянью погоняет! А еще кота втащили! Я грю – животную в багаж! Животную в багаж! Так положено! А они меня – по матушке, меня, пожилую женщину. Ну, ништо, нашлась на вас управа! – кивает, чинно поджав сухие губы.

– Кота? – Брат поворачивается к пьянчужкам, и тут, в короткой тишине, внезапно раздаётся тоненький, пронзительный мяв.

– Так это... Как же в багаж? Он же махонький совсем... Котенёночек. – Второй мужичонка, худой, кадыкастый, в китайских кроссовках, спортивных штанах и широкой кожаной куртке «с Черкизона», протягивает брату маленького черного котенка, пушистого, с круглыми трогательными ушками. – Матери везу. В подарок. Это такой кот, у-у-у! Бумер назвал. Вишь – черный! Так я и назвал – Бумер. – Мужичонка тихо смеется, нежно прижимает котенка к щеке и запекает неожиданно сильным, верным тенором, пританцовывая и нянькая котеночка на ладони:

Ведь у меня есть черный Бумер – и-их!

Он всегда со мной.

Ведь у меня есть черный Бумер – ик!

Быстрый и шальной.

Ведь у меня есть черный Бумер – и-тить!

Бумер заводной...

– Ну-ка дай! – Брат сгребает котенка, поднимает к свету, щурясь, пытается рассмотреть. Ребенок кошки заходится в плаче, извивается, тянет тонкие лапки с растопыренными ладошками в сторону тенора.

– Митя, отдай! Отдай! Ему страшно. – Я кладу руку брату на предплечье.

– Так я – посмотреть, чего ты? Я ж ничего такого, – смущенно говорит он, возвращая Бумера владельцу. Котеночек сразу успокаивается, рассыпается бархатным, но и звонким воркованием, заминая передними лапками шею хозяина.

– Он ему теперь как мамка, – объясняю я брату. – От одной мамки его уже забрали, а ты теперь еще от другой тащишь. Вот он и напугался...

– Мамка! Да какая мамка! Баракло бессовестное, пьянь! – возмущенно вклинивается старуха. – А ну не мучь животную!

– Кто тут мучит? Кто мучит? Да я в котках поболее... всяких понимаю! У меня знаешь какой кот был? Во какой! – Мужичонка показывает свободной от котенка рукой размер традиционного мифического сома. – Белый весь, один глаз – зеленый, один – синий. Гиви звали. Везде за мной ходил. Куда я – туда и он. Когда старый стал, все зубы съел, так я самолично ему нажевывал рыбку там, мяско... Коты – это, знаешь... Это коты! Дело нешутейное!

– Точно, точно, – с удовольствием подхватывает братец. – Коты – это... Коты! У нас у самих двое, жопы полосатые, здоровенные, как арбузы! И всё понимают! Вот говорят – собаки, а собаки – что? Собаки – тьфу против котов!

– Дак и я ж про то! – Мужичонка с котом мелко кивает. – Собаки – это такое... Сесть-встать, туда-сюда... А кот – он все сам понимает... Вот Ньюшку-то возьми, мамку его, – тычет братцу котенком в нос, – сама пришла... На работу устроилась, типа... В офис к нам, я в офисе работаю... Так всех мышей до одной повывела! Нету ни одной мышки в офисе!

– Какие тебе мыши в офисе, не бреши! – ворчит старуха.

– Так я ж говорю – нету! Повывела всех! – ликует мужичонка.

– Провожающих прошу покинуть вагон! – Проводница протаскивает мимо нас свое оплывшее, грушевидное тело с усилием, словно улитка – домик.

– Ну, все. Все. Поехали. А ну уступи место девушке. – Брат сгоняет лысого с полки, усаживает меня. – Ботиночки тебе расшнуровать? – Он ко всем женщинам относится как к принцессам, хотя я сейчас больше похожа на свинопаса.

– Нет, Мить. Спасибо. Иди уже.

– Смотри. Ну, граждане хорошие, бабуся мне тут не обижать, сестренку мою не обижать...

– А то – что? – с насмешливой угрозой интересуется лысый.

– А то яйца тебе оборвет и сожрать заставит, – мирно, даже ласково отвечает братец. – Смотри, орел, я тебя по-хорошему предупреждаю. Сестренка у меня – девушка серьезная. Обижать ее не надо, целее будешь.

Лысый окидывает меня быстрым, оценивающим взглядом – говнодавы «шелли», серые английские джинсы, спортивная курточка с капюшоном, стриженный затылок, – молча цепляет со стола початую бутылку «Очаковского» и удаляется в соседнее купе.

Я усмехаюсь. Как же это мы, вполне взрослые люди (братцу сильно за сорок, мне – за тридцать), работники искусства, умудряемся до сих пор выглядеть опасной полушпаной?

– Бабуся, вы ж тоже... Котенок – дело хорошее, мешать вам они не будут... Сестричка вон моя присмотрит... чтоб не мешали... Вы уж того... этого...

– Что ж я – не человек? Не понимаю? Если ко мне по -человечески, то я – ничего, все понимаю... Надо – так надо, бог с тобой, сыночка...

Поезд протяжно вздыхает, фыркает, как старая лошадь, и братец, расцеловав меня на прощание, выходит из вагона.

Под ногами лязгает, вздрагивает, и перрон начинает уплывать назад. Мужичок с котенком, потеряв равновесие, валится на полку, и я понимаю, что он действительно очень пьян, пьян как мотылек.

– А матрасец-то мне, доча...

– Так чего ж вы к девушке, давайте я, мадам, все в лучшем виде... ик!.. вам доставлю. – Мужичок пытается подняться, шебуршась, как опрокинутый на спину жук.

– И-и-и, сиди уже... Девка-то покрепче тебя будет. Вы что же, оба из военных? Или милиционеры? Счас модно девушкам в милицию идти, у меня – внучатая племянница, и тоже пошла... А чё ж? Льготы у вас, форма, опять же... Сериал этот... наш... как там?.. я наши-то не люблю... про Каменскую, с этой, с интердевочкой...

Я молча улыбаюсь, снимаю матрас с верхней полки, и бабка начинает моститься спать.

Достает из сумки простынку, быстро и нежно, как младенца, пеленает матрас, повязывает темный платок поверх белого, ложится, набрасывает на себя пальтишко вместо одеяла, прикрывает глаза.

Сухонькая мордочка и во сне остается трогательно-строгой.

Поезд набирает скорость, и полупустой вагон мотает так, словно его раскачивает, как колыбель, какой-то нервный великан – плюти-плют, плюти-плют, плютиплютиплютиплют...

Я сажусь, чтобы расшнуровать ботинки, но у меня кружится голова. Опираюсь о стену, пережидаю. Мужичку напротив тоже удастся сесть, и мы смотрим друг на друга, оба – пьяные, но я от усталости, все вертится перед глазами, плывет, как будто мы не в поезде, а в какой-нибудь тоскливой песне Лёлика Федорова.

– А Серый где? А пиво где? – первым наводит резкость мужичок. – А... Ушел... А я вот котенёночка матери везу... В подарок... Пусть, думаю, кот вырастет... Снежанка будет приходить, играть с ним будет... Ей Светка кота не разрешает... А имя красивое – Снежана, скажи? Это Светка выдумала... Девять лет. На фортепьяно ходит... Вся в меня... Я ж баянист был первый... Ох, и любила меня Светка... Я ж баянист был, за мной девки – табуном, все как есть мои были... Ох, и любила... Сядет, бывало, где я, на свадьбе или где... Кулачком щеку подопрет и слушает, аж до слез... Другие девки танцуют, а она так и сидит, и смотрит... Ни с кем не шла... Светка-то моя... бывшая... Так я и женился... А красивая была! Ну, и сейчас красивая... Только уж больно злая. Как ушла к этому... к Серому... Не к тому Серому, что ушел... А к этому... Он хоть и бандит, а мужик неплохой... Светка-то, слышь, как замуж по второму разу вышла, выдумала к Снежанке меня не допускать... Пьянь, говорит, как эта вот, – мужичок опасно понижает голос и кивает на мумию старушки, – пьянь окаянная, мало я от тебя терпела? А Серый ей – отец, говорит, слышь, есть отец. Пусть. И деньги берет. Светка-то, было, в рожу кинула. Говорит, не нуждаемся в твоих подачках, пьянь... Ну, так... И дом у них свой... С балконом... С фортепьяной – ну, пианину так по-научному называют... И тачка, и гараж... А Серый говорит – отец, имеет право... И берет, сколько привезу... Снежанке-то... И подарки, и все... Хороший мужик... Я в Москву-то на заработки ежу, а так я – баянист... Самоучка... Но первым был у нас... Снежанка-то в школу ходит, в музыкальную... Спрашивает меня – как тут играть, папка? Ну, я сяду... показываю, как... А она мне – у тебя, папка, пальцы неправильные... Ап-пли-ка-тура, слышь... А я ей – что пальцы? Ты, говорю, Снежанка, музыку слушай... Главное, чтоб музыка была правильная! Пианину-то я быстро освоил, это тебе не баян, там попроще будет... Только пальцы вот... неправильные пока... А теперь котенёночка привезу, Снежанка и сама будет к матери бегать... А то мать скучает за ней, за внучкой, а сама к ним не ходит... Со Светкой у них, знаешь... Как сойдутся, так чуть не до драки... А теперь Снежанка сама... Большая уже... Девять лет, слышь... – Мужичок сползает по стеночке, заваливается на бок, бормотание плавно сменяется храпом, но котенка при этом все боится, прижимает правой к плечу.

А я думаю: эх ты, Светка-котлетка... Полюбила баяниста, называется... Небось гордилась еще перед девками, как замуж вышла. А ведь ежу было понятно, что сопьется... баянист-то...

С этими бабьими мыслями скидываю ботинки, забрасываю рюкзак на верхнюю полку и сама лезу следом.

Проводницы нет как нет, никто не проверяет билеты, никто не втюхивает сырое и серое постельное белье. Время – за полночь; наверное, превратилась в тыкву...

Я вытягиваюсь на жесткой полке с целью немедленно и наконец-то уснуть, но – дудки.

В голове грохочет, словно там носятся по кругу товарняки, снаружи ритмично бьет железными копытами поезд, несущий меня, и котенок, котенок еще. Я подхватываюсь на каждый писк, боюсь, что этот пьяный тип его придавит во сне.

Но котенок оказывается не промах. Баянист ворочается, а зверек не покидает корабль, аккуратно переползает с плеча – на спину, со спины – на грудь, по ходу движения. И я впервые с приязнью думаю о собственном возрасте – когда бы я была помоложе лет на

десять – пятнадцать, то быстро навешала бы мужику по ушам и отняла котенка – спасла, а как же. А теперь – нет, не буду я никого спасать, пусть живут безмятежно.

Я закрываю глаза и проваливаюсь – не в сон, в колодец синей мглы, где поезд отбивает монотонную чечетку под рахманиновскую рапсодию на тему Паганини и пляшет, мерцая лысиной и черными очами, Пабло Диего Хозе Франциско де Паула Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла Сантисима Тринидад Руиз и Пикассо, полуголый, в просторных цветастых труселях до колена, басовито начитывая рэп чисто по-русски: «Коричневый котенок, ребенок кошки, похотливой походкой скитаюсь с котами, с хворыми воробьями ем мокрые крошки, коричневый котенок, ребенок кошки...»

«Почему коричневый, он же черный?» – удивляюсь я во сне и усилием воли останавливаю поезд, чтобы разобраться, рассмотреть котенка получше. Поезд страшно дергается и замирает. Я открываю глаза, оглядываюсь. Никого нет, ни старушки, ни баяниста с котенком. За окном – город Тула, серый еще рассвет, но из-за горизонта, в другом окне, напористо лезет красное, тяжелое солнце.

Утро.

Я снова засыпаю, на этот раз тяжело и просто как кирпич.

– Ах ты ж, бедное мое... Дитяtko, вставай, вставай, приехали уже! И не добудишься... Вставай, слышишь меня?

По руке ползет теплая, противная гусеница, я стряхиваю ее и резко сажусь. С размаху стукаюсь головой о третью полку – салют, с прибытием.

– Ой! – Проводница, еще пьяненькая со вчера, испуганно прикрывает пухлые, мятые щеки руками. – Я ж не хотела! Вставай, дитяtko, таможня уже ходит... Пойдем, я тебе туалет открою, покараулю, они ж еще долго будут...

Я слезаю с полки, натягиваю ботинки, иду за ней следом, послушно, как ослик, мотаю ушибленной головой.

В сортире мокро, грязно и, к счастью, нет зеркала. Умываюсь железнодорожной водой, чищу пальцем зубы. Давно я никуда не выбиралась, ох давно...

– Идут! Идут вже. – Проводница заполошно стучит в дверь, я выхожу, возвращаюсь на место, таможенники горохом рассыпаются по вагону и разочарованно находят там одну меня. Не сезон, поезда на юг идут пустыми.

Мне обиженно шлепают печать в незаполненную декларацию, и все, я сва-а-а-а-абоден – выхожу в солнечный осенний день как есть, в расшнурованных ботинках, приглаживая пятерней растрепанные со сна волосы.

Сколько я здесь не была? Лет девять уже?

Я тщательно шнурую ботинки и выхожу в город.

Он мне не родной, жила я здесь недолго, каких-то пять лет, и покинула его не ребенком, но город словно бы стал мне тесен, как юношеская блузка, маленький, ветхий, с нелепо-новенькими блядами рекламных щитов на старых стенах.

С трудом нахожу нужную мне остановку трамвая, все как во сне – и знакомо, и не узнать, и люди выглядят ряжеными, словно статисты французского фильма про русскую жизнь: мужчины в кепочках из пятидесятых, женщины в косыночках из семидесятых и юные девы с завивками, ярким макияжем – ревущие восьмидесятые.

И тут я вспоминаю – да носят же так сейчас, носят, мода восьмидесятых вернулась, все в порядке, не бред, не сон, а косыночки с кепочками будут жить вечно.

Трамвай сворачивает в совсем уж незнакомые места, и меня отпускает – нет нужды узнавать, сверять реальность с воспоминаниями.

Сажусь в красное металлическое креслице у окна и смотрю, что показывают.

Я – идеальный зритель. Я люблю смотреть. Я могла бы провести всю жизнь, глядя в окно – трамвая, поезда, самолета. Мое место – в зрительном зале, там мне хорошо, меня охватывает радость предвкушения – вот сейчас, сейчас покажут что-нибудь интересное!

Мои ожидания редко бывают обмануты, порадовать меня легко – именно потому я и не

могу сделать это одной из своих бесполезных профессий. Платят только говорящим зрителям, критикам, а кому нужен критик, которому нравится почти все, что показывают?

И я смотрю, смотрю совершенно бесплатно, бросить это дело я не могу, я – зритель-маньяк. А потом делаю сама – что-нибудь, что можно показать другим, уже за деньги. Тем и живу. Сколько себя помню, занимаюсь всякой ерундой, тем, что для приличных людей только хобби, – езжу верхом, воспитываю чужих собак, рисую, делаю кукол, создаю железных монстров, жонглирую огнем на сцене, и вот теперь – пиротехника, как венец моей бесполезной, но и, согласитесь, безобидной деятельности.

Что может быть глупее, чем пускать свою жизнь на ветер?

Целый день, не разгибаясь, монтировать линию, для того чтобы тридцать секунд отплясали фейерверки, отгорели, распуская яркие хвосты искр, шутихи?

Но – ах! – как это красиво! И какие счастливые, совершенно детские улыбки расцветают на лицах зрителей, когда они смотрят на этот нестрашный, прирученный огонь.

Трамвай везет меня куда-то на окраину города, мимо новостроек, почти неотличимых от московских, мимо серых бетонных заборов промзоны, поросших кустами колючей проволоки, в район двухэтажных обшарпанных домиков, тихий, пыльный, больше похожий на заброшенный курортный городок.

Я выхожу у маленького магазинчика, на нем старая вывеска «Продмаг», а рядом гости из будущего – будка с кока-колой и банкомат.

Иду по извилистой улочке, мощенной булыжником, кое-где стыдливо прикрытым одеялком асфальта, мимо старых сливовых деревьев и шелковиц, нежно покачивающих корявыми, узловатыми лапами, нежно-нежно, как танцующие японские старухи в паутине истлевших покрывал.

Долго не могу найти дом № 3, он отбил от стада, заполз почти в начало парка, спрятался в кустах – желтенький, даже по стенам поросший сорняками.

Я обхожу его кругом, но все двери заколочены или заперты, и тропинки к ним заросли лопухами и кашкой. Лишь у одной я нахожу дорожку из кирпича, но вход для своих – кодовый замок, нет ни клавиш, ни домофона, войти может только тот, у кого есть ключ.

Я достаю мобильник, набираю номер, но абонент недоступен. Уже почти смиряюсь с мыслью, что буду орать под окнами, как потерявшаяся кошка, а что, здесь это вполне уместно: «Ма-а-ама, ма-а-ам, мультики не начались?» или «Сиро-о-о-ожа, иди обедать!», но тут из подъезда (не парадного никак уж) выходит какой-то подросток уже Сирожка, и я проскальзываю внутрь.

Если бы мыши умели писать, они так бы и написали на стенах: «Здесь были мыши!» Да, здесь были мыши, они здесь писали когда-то, давным-давно, в начале времен, а теперь осталась только тень, шлейф мирного, деревенского мышиного запаха.

Я поднимаюсь по выщербленной лестнице с чугунными перилами на последний (второй) этаж, тычу пальцем в пупку от звонка, но он не отзывается даже вздохом (и кто бы сомневался?). Стучу в дверной косяк, потому что сама дверь, двустворчатая, высокая, выпирает мягкими войлочными брюшками, обитыми дерматином.

Майка открывает сразу, будто ждала за дверью, и виснет у меня на шее.

Мы не виделись – сколько? – лет девять, но она совсем не изменилась – черноглазый воробей с темной прямой челкой, маленькая смуглая красотка.

– Глория! Глория! Как я рада тебя видеть! Сколько мы не виделись? Лет девять? Ты совсем не изменилась! В душ? Кормить? Чаю?

– Здравствуй-здравствуй, мой дружок! Умываться, кофе – все потом. Хочу сперва к Артюше съездить. – Искренне обнимаю Майку, я тоже ей рада.

Есть связи, которые не рвутся, – и это так странно, мне, человеку, не жившему нигде дольше пяти лет, странно, что случайные попутчики, к которым относишься легко, пусть и с приязнью, остаются друзьями навеки.

– К Артюше – далеко, на другой конец города, – огорчается Майка, – а ты же с дороги...

– Ничего. Приеду – пощечечем.  
Тут я замечаю стоящую чуть позади Майки рослую, пухленькую девочку и спрашиваю:  
– Неужели – Аська?  
– А? Зверь! Видала? – И, обращаясь к дочери: – Вы знакомы с Глорией, просто ты ее не помнишь.  
– Помню, – с застенчивой улыбкой говорит девочка, и мы с Майкой начинаем ржать и показывать на нее пальцами.  
Она не может меня помнить, никак, в последний раз мы виделись, когда ей не было и года.  
– Я помню. Платье в бабочках, – спокойно говорит Ася. Она не смущена и не напугана нашим хохотом. Дети, которых растят в любви, не знают страха.  
– А ведь и правда, было платье, помнишь? – удивленно говорит Майка, и я киваю – конечно, помню, легкое шелковое платье, черное, в ярких, цветных бабочках.  
– Аларм! Аларм! Среди нас ребенок с паранормальными способностями! – дурашливо кричит Майка и начинает щекотать дочь, которая в свои неполных десять выше родной матери на полголовы.  
Ася с визгом и хихиканьем вырывается, убегает и запирается в комнате.  
– Аська! Собирайся! Ты помнишь, мы должны ехать через час! Глория, извини, я не могу с тобой к Артюше, сейчас схему нарисую, как найти. Мы обещали помочь Зинке, она ремонт затеяла... Переехали они сюда, к нам поближе... Давай я тебе кофе пока сварю.  
– А я пойду умоюсь. Можно в ботинках?  
– В ботинках, в валенках – как хочешь. Только я тебе сейчас там покажу... Мы сами недавно переехали, и папа там в ванной чего-то намудрил, – говорит Майка, а я думаю: вот оно, вот что изменилось – они больше не Майка и Кирилл, они – мама и папа.  
Пока Майка сражается со своенравным краном, я брожу по дому.  
Высокие потолки, беленые стены, просторная кухня-студия, мольберт, холст с тщательно выписанным натюрмортом «под голландцев».  
Застекленный балкон, окна открыты, ветер как котенок играет легкой белой занавеской.  
Клетка со щеглами.  
С другой стороны – дверь, ведущая на широкую каменную террасу.  
Если бы я и хотела быть кем-то еще, не собой, то маленькой черноглазой женщиной, живущей в таком вот тихом доме.  
– Все, отрегулировала. – Майка выходит из ванной, вытирая руки. – Ты сама воду не закрывай, позови меня. А то у нас душ на людей кидается...  
– Хорошо здесь...  
– А, да. Осели вот. Аська растет, так что... Папа наш ездит, а я – дома.  
И Майка, и Кирилл раньше оба реставрировали иконы, писали фрески, ездили по церквям, и ближним, и дальним – где заказы были.  
Я иду в ванную, с наслаждением умываюсь по пояс, плещу водой в лицо, чищу зубы и выхожу мытая, смиренная, в белой измятой рубахе навывпуск, как подрасстрельный солдат.  
Пьем кофе на террасе, курим, Майка объясняет мне, как доехать до Артюши.  
– Это же на другой конец города... И там еще... Может быть, завтра? А сегодня отдохнешь, выспишься, пока мы к Зинке съездим, а?  
– Нет, спасибо. Поеду.

\* \* \*

День набирает силу.  
Трамвай, визжа, лязгающей железной гусеницей вползает на главную городскую площадь. Я схожу. Мне надо будет сменить лошадей трижды – ехать и правда далеко. Получается такая обзорная экскурсия по городу для беспамятных дам.  
Харьков, милый Харьков. Мы все здесь учились – и я, и Майка, и Артем.

Это сколько же мы не виделись с Артюшей, думаю я, года полтора? Последние пять лет мы вообще мало виделись. Разнесло по разным городам, учились, работали, любили кого-то, все некогда.

В последний раз виделись в Киеве, почти случайно, мы – команда файерворкеров – прибыли на гастроль, а Артем там работал на съемках какого-то рекламного ролика.

После выступления, утром, я поехала на студию повидать Артема, думала – на часок, кофе выпьем, посплетничаем и разбежимся, но вышло иначе.

Мы долго обнимались, хлопали друг друга по спине, как бывшие однополчане в старых фильмах.

Потом Артюша выкрикнул кому-то наверху:

– Фима, я уйду до вечера, ко мне братан приехал!

Из-за края пенопластовой стены, с лесов высунулся рыжий, длинный, типичный еврейский гангстер:

– Ты гад, Мехлевский! Работы полно... Хотя сиськи у твоего братана ничего, я бы тоже ушел до вечера...

Артем показал рыжему кулак, и мы на целый день бессовестно усвистели гулять по городу.

Поздняя весна, конец мая, солнце просвечивает сквозь густую листву – и мы, и тротуары от этого были леопардовыми, в солнечных пятнах.

Киев такой спокойный город, такой спокойный, этот неспешный, в нос, говорок местных маклаудов, которые никуда не торопятся (куда им торопиться, бессмертным?), и символ города, лист каштана, больше похожий на лист конопли, да и каштаны эти, ей-богу, всего лишь конопляные деревья, которым таки дали вырасти, и город полон их дыханием – насмешливо-неспешный, спокойный-спокойный, и время стекает с пальцев как мед.

Мы ходили, взявшись за руки, по Сагайдачного и по Андреевскому и на Труханов остров забрели.

Разговаривали? Нет. Не было это среди нас заведено. Потому и писем друг другу не писали, и звонили редко – что толку в словах?

Так и бродили весь день молча, много смеялись, показывали друг другу – смотри, какое интересное лицо, смотри, какой смешной, смотри, как красиво.

И мне становилось легко-легко, спокойно-спокойно, душу словно выпустили из оков, отчистили, как старую серебряную ложку, и она засияла.

Не то чтобы мне плохо жилось тогда, но я, как дурной летчик в непрочном самолетике жизни, все закладывала вираж за виражом, и петля Нестерова затягивалась, и перегрузки давали о себе знать. Поговорить было с кем, а помолчать – вот так – было не с кем.

Сладкий киевский вечер опустился трепещущим синим шелком, и мы пошли к вокзалу – пешком.

Мы стояли у поезда, и ладные цирковые девушки из нашей команды с гастрономическим интересом оглядывались на Артюшу.

А я думала: вот как он это делает? Ничего особенного, невысокий, сероглазый, родинка у левого уголка губ, но не было женщины, которая не приласкала его хотя бы взглядом.

Надо было прощаться, как-нибудь, что-то все же сказать, и я достала из рюкзака фотографию в рамке темного дерева, из тех, что обычно держат на столе:

– А у меня новый мужчина. Вот.

Артем долго разглядывал лысого, полуголового типа в индейских мастях, в серьгах серебряных, желтоглазого, с покатыми негритянскими плечами.

– Дурочка ты у меня, Гло, – сказал, целуя в висок, – опять себе какого-то негодяя нашла.

Я пожалала плечами. Разумеется, негодяя, кого же еще? Как-то раз я ходила замуж, сглупу – за приличного человека. Институт брака был закончен, и теперь я знала о себе две вещи: замуж я больше не пойду, никогда, нет, и не просите, и – да – я люблю негодяев. И это мой осознанный выбор.

– А я... А я... – Артем вдохнул глубоко, как маленький, перед тем как признаться в страшном: – А я женюсь. На Зинке.

– Ну, круто, – сказала я без энтузиазма. Зинка мне не нравилась. Да кому они нравятся, эти гиены любви? Терпеливые девы со скулящим взглядом, вечно в слезах, неусыпно караулящие тех, кто однажды имел неосторожность завести с ними мимолетный романчик.

Их не любят, никогда не любят, любят кого-то другого – не их, с ними трахаются спьяну или от отчаяния, когда тот, «кто-то другой», забросал твое сердце камнями и срочно надо проверить – да жив ли ты? А они как-то сразу втягиваются, и романчик становится романом века, а ты – героем романа, их романа, ты, засранец с израненным сердцем. И разве ты сам можешь бросить камень?

Да и бесполезно. Бьет – значит любит. Не любит – значит полюбит.

И они следуют тенью, выжидают. Другие женщины, работа, пьянство, буйство? Нет, ничем их не отвадить. Сидит, смотрит, глаза оленьи, только губы дрожат. Любит, б... И ты вроде как уже кругом подлец и виноват, потому что вот же, тебя любят – любого, и все тебе прощают – а просил ты или нет это все тебе прощать, никого не интересует, ведь любовь – это дар небес, святое, а дареному слону в хобот не дуют.

Впрочем, что я-то знаю о любви? Может, это она самая и есть.

– Она меня любит, – объясняет Артем (себе? мне?), – любит и любит. И я, знаешь, привык к ней как-то. И она, знаешь, беременна. Ребеночек у нас будет.

– Так это же здорово! Это просто класс! Что ж ты раньше молчал? Ай, какая красота!

Мы идем вдоль перрона, обняв друг друга за плечи.

– А я вот все никак... Не дает Бог детишек...

– Ты была бы очень хорошей мамой, – убежденно говорит Артем.

– Ай, брось...

– Точно тебе говорю. Ты заботливая. И нежная.

Я смеюсь. Наверное, Артем – единственный человек, который так обо мне думает.

Мы были знакомы – сколько? – лет двадцать. Точно, двадцать лет без трех месяцев.

Никогда не были любовниками. Друзьями? Да вряд ли. У каждого из нас, определенно, были друзья и поближе. Взаимопонимание? Не знаю, взаимопонимание принято подкреплять словами – хоть как-то.

Живопись нас связала, ага. В юности, еще до харьковского худилища, мы учились у одного мастера.

Смешной был старик, настоящий самурай, а выглядел как греческий бог, Зевс, громовержец, – высокий, седой, с курчавой бородищей.

Считался тогда новатором, нас, молодых львов, набивалось до сорока человек к нему в тесную подвальную студию.

Делали наброски тушью, падающий карандаш – три секунды, смятые листы бумаги, натурщик в движении, уголь, сепия, лепестки, облетающие с пахнущих полынью золотых хризантем.

Мастер наш был самодур и тиран, студенты выли от его выходок, но не мы с Артюшей. Нам-то он нравился – веселый, умный, резкий, точный. Кто же знал тогда, что в нас самих прорастает такой же тяжелый, безжалостный нрав, в нас, глупых, веселых щенках, разгорается это холодное, всепожирающее пламя – служения искусству? Ох нет, не люблю я слово «служение». И слово «искусство». И слово «творчество» не люблю. Это такой значок избранности, индугенция, дающая право – на что? – чаще всего на заносчивость и лень.

А искусство – это же так просто, на самом-то деле. Это ремесло, и грязное ремесло – буквально грязное, вечно по уши в краске или глине, кто как. А то, что вы вкладываете и перезакладываете трижды и душу, и ум, и руки (да, руки прикладывают) – так это любой хороший сантехник, и врач, и архитектор делают то же самое. И не факт, кстати, что тогда ремесло становится искусством. Для этого требуются время и отрешенность, и резкость, и точность, но и тогда – не факт. Никто не может предугадать, перейдешь ли ты эту грань,

сколько бы ни заплатил. Но этим, со значком, которые ремесло презирают, им точно ничего не светит.

Ну и магия, конечно, в этом есть – «материализация чувственных идей».

Химеру, порожденную воображением, ты можешь перевести в материал, перетащить в реальный мир – если хватит мастерства, разумеется. Магия – это большой соблазн, тебя сжигают и азарт, и любопытство, всегда страсть как интересно посмотреть, что за голем выйдет из твоих рук, насколько это будет близко тому, что тебе показывали там, в саду ярких образов.

Артем был настоящим художником – шелковая мавританская борода, новенькая и нарядная, как весенняя трава, рубаха, уся у пятухах, клеша сорок сантиметров, фенечки-хайратнички, боже ж мой. И все равно, несмотря на весь этот маскарад, он был настоящим художником. Хорошим. Крепкая рука, верный глаз – как у индейца.

А я? Да я до сих пор этого не знаю. Но выглядела я тогда радикально неправильно, сейчас бы сказали – блондинка. Шпильки, шелковые платья, кудри до попы.

Прыжок в этот образ был совершен со страху – я зарабатывала на жизнь, обучая уму-разуму чужих собак, и как-то раз на площадке встретила двойника (а это, как известно, дурная примета – к близкой смерти) – немолодую женщину, пухленькую коротышку с широкими бедрами, завидными сиськами, но при этом стриженную под полубокс, в тяжелых ботинках и полувоенном прикиде.

Я была одета точно так же, только косы еще не обрехала да сиськи еще не отросли.

«А ну как отрастут? – с ужасом подумалось мне. – И что же, я буду выглядеть, как эта хрипатая тумбочка? Курить беломор (да, я курила беломор) и говорить, что я люблю собак больше, чем людей?»

Так легко любить собак больше, чем людей! Люди неуправляемы, их не заставишь любить по команде.

Она привела трех злобных до истерики овчарок, которые немедленно затеяли драку с другими псами, в том числе и с теми двумя доберманами, которых привела я.

Вытащив своих бесхвостых из свары за яйца, я смылась домой и следующим же днем пошла делать завивку, покупать туфли и «Яву-100» вместо беломора. Дети впечатлительны, что уж.

Среди братьев-художников мой новый облик вызвал смятение – приличные богемные девушки так не одевались, приличные богемные девушки ходили в брючках, носили очки и не мыли голову. Ну в крайнем случае – темно-японская шаль, цыганские перстни и мундштуки.

Только мастер кровожадно обрадовался и устроил представление, когда я в таком виде вошла в аудиторию.

– Чу! Вижу женщину на горизонте! – жизнерадостно взревел он. – Проходи, женщина! Садись! Мы сделаем из тебя человека!

И каждый раз теперь меня встречали вопли: «Что я вижу?! Каблуки! Духи! Кудряшки!.. В храме искусства!»

Но однажды, когда я прибежала на занятия сразу после тренировки с моими монстрами, в джинсах и черной майке, он обиделся, как Карлсон:

– Ну, я так не играю... Ты сдалась... Я тебя задразнил, и ты сдалась...

– Мастер, я просто не успела переодеться...

– Никаких «не успела»! Где мои каблуки? Духи? Кудряшки? Кем я буду вдохновляться? Этими крысами? – Он презрительно обвел рукой притихших девочек в брючках.

Всеобщей любви мне это не добавило, и лишь Артем смеялся и не стеснялся таскаться со мной такой по полуподпольным блюзовым и рокабилли-вечеринкам.

Мы довольно много времени проводили вместе – бились над рисунком в студии, ходили вместе писать этюды, ну и концерты, всяческие тусовки, и все, что полагается

богемным детям.

Разбегались только по любовь и по деньги – Артюша работал художником (настоящим!) в кинотеатре, рисовал жуткие портреты киногероев на огромных холстах, а я... Ну, я уже говорила – обучала агрессивных собак хорошим манерам.

И для любви у нас тоже были другие люди. Почему? Артюша был жутким бабником, и я – ветреной девицей, как же мы умудрились не переспать?

А вот. Кисмет.

Однажды, полные легкого, искрящегося веселья после легкого белого вина, возвращаясь с квартирника (наши крымские друзья-музыканты устроили потрясающий джем-сешн), мы запрыгнули в последний, ночной уже, троллейбус, идущий неизвестно куда, и стали целоваться на последнем сиденье, как это обычно бывает. И... перестали.

Мы не годились друг другу в любовники. Совсем. Какой-то сбой программы, на генетическом уровне – нет, нельзя, не надо.

Протрезвев от изумления, мы приехали ко мне, тихие, как мыши, и, растолкав собак, залегли спать.

Утром, нервно звеня ложечкой в стакане, Артюша неожиданно сказал:

– А можно, я у тебя поживу?

– Живи, – легко согласилась я. – Только баб не води. Заиками станут.

– Почему заиками? То есть я и не собирался... Я думал – поработаем вместе спокойно... Попишем...

– Да собаки же. – Я кивнула на ротвейлера, двух доберманов и кавказца. – Пробовал когда-нибудь трахаться при такой публике?

– Н-нет... Ну ты, яйцerezка, чего смотришь?

Кавказец Черт, терракотовый, с черной клоунской обводкой вокруг губ, недобро оскалился.

– Ша, Чертушка, иди на место, – сказала я. – Ну да, смотрят – они любопытные. Вздыхают. Могут подойти, лапой потрогать. Иногда подпевают. А один кекс мне такую истерику закатил, когда Анкель ему в процессе голову понюхал – это надо было слышать...

– Ну и хорошо, – сказал Артем. – То что надо. Никакого б...ства, одно искусство проклятое. Ты не против? Устал я что-то. Подумать надо, поработать. Спокойно. Устроим даосский монастырь имени Пу Сун Лина?

– Не, на монастырь я не подписываюсь. Предлагаю выездное б...ство, а дома – таки да, только работать.

Жить вдвоем оказалось чудо как хорошо. Некоторое равнодушие, поверьте, очень упрощает совместное существование – никто никого не дергает, не придирается, не требует никаких отчетов. Любовь – такая штука, она как бы сразу дает право вмешиваться в чужую жизнь, перекраивать ее под себя – это глупо, но почему-то так.

А формальное отсутствие любви приводит человека к мысли, что чужую жизнь надо принимать как уж есть – никто ведь не держит, не нравится – уходи, да и все. То есть фокус, я думаю, в том, что ты легко принимаешь чужую жизнь во всей первозданной прелести, если не собираешься ее разделять. Мы и не собирались, и это вдруг дало нам и покой, и волю... Про счастье – не знаю, но покой и волю – точно.

Мы писали много обнаженных, по дому везде валялись голые женщины и бродили стада собак. Места было достаточно – просторная, полупустая комната с аркой, огромная кухня, высокие потолки.

По всем городским барахолкам у интеллигентных старух мы скупали потертые парчовые подушки, восточные покрывала, старые шали, тяжелые бусы и раскладывали наших дам в опиумных интерьерах.

В натурщицах недостатка не было – женщинам нравится нравиться.

Я училась у Артюши галантному разговору – и кто бы мог подумать, что слова так много значат для женщин?

Две вещи, запомните две вещи: женщин надо слушать, с женщинами надо разговаривать. Тогда они спокойны и счастливы. А счастливая женщина излучает свет, без шуток – тело светится, бросая теплые блики на шелк и бархат, ну и, может быть, на всю вашу жизнь.

Интонации у меня были самые подходящие – с детства привыкла успокаивать норовистых лошадей и свирепых собак, – так что я быстро научилась ладить с женщинами.

– Посмотри, какая ты красивая, ну посмотри, – мурлыкали мы хором какой-нибудь толстушке, – эти ямочки на локтях и круглые колени, и нежная кожа...

Через месяц к нам прибилась одна из постоянных натурщиц, бывшая подружка Артюши – Вивиана. Ее на самом деле так звали – Вивиана Панченко, прелесть что за девушка.

Виви была веселой и бесстыжей, глаза – как звезды, расхаживала по дому голой Геллой в клетчатом фартучке, варила нам борщи и командовала всеми:

– Художники! А ну быстро жрать! Все стынет! Я кому сказала!

А однажды, когда Артем все не мог оторваться от задания по композиции – он писал двенадцать супрематических полотен сразу, как Бендер, дающий сеанс одновременной шахматной игры, они были расставлены везде, на мольбертах, на стульях, у стен, – Виви, отчаявшись его дозваться, пришла, молча понаблюдала за ним и наконец сказала:

– Артемчик, иди покушай! Целый день голодный, разве так можно? Ты мне покажи, какие квадратики каким цветом закрашивать, если тебе завтра сдавать, и я покрашу пока, а ты покушаешь!

Я выронила кисть, нагнулась за ней и, не в силах сдержаться, повалилась на пол, повизгивая от смеха.

Артем тоже заходился хохотом, вытирая слезы рукавом, пачкая лицо краской.

Виви, не понимая, в чем дело, задохнулась от обиды и ушла на кухню плакать.

– Вы надо мной смеетесь! – кричала она, когда мы пришли ее утешать. – Вы думаете, вы одни умные, а я просто идиотка, да? Тупая продавщица?

– Вивианочка, что ты, любимая! Мы смеемся только над собой! Ты все очень правильно сказала – уж такие мы художники, что уж и не поесть, можно подумать! А давай нам борща! Мы его уничтожим! Твой борщ – это же истинный шедевр!

– С пампушками, – всхлипывала Виви, – я хотела, чтоб с горяченькими... Но все остыло уже... А разогревать – не то...

Игра, конечно, уравнение с тремя известными «х», мы – художники, она – маленькая хозяйка большого дома, но кто сказал, что к себе всегда надо относиться серьезно?

А любовь? Конечно, у каждого из нас была любовь – там, за кадром. Любовь была саундтреком нашей жизни, и что за фильма без музыки? Музыка – душа фильма, она помогает понять характер героев, она раскрывает тайные смыслы сюжета, но на ход его, собственно, не влияет.

Так мы думали. И ошибались, понятное дело. Ну, я ошибалась, по крайней мере.

У меня был – возлюбленный? любовник? – не знаю, как и сказать. Слово «бойфренд» тогда было не в ходу, да и не был он мне мальчиком-другом.

Он был вдвое старше меня, бывший жокей, маленький злобный дьявол, любящий только две вещи – риск и джаз. Когда мы выходили на люди вдвоем, то выжигали злыми насмешками все вокруг. Как жухлую траву.

И у него, и у меня были другие, ну, вы понимаете. У любви, как у пташки, руки, а если руки отрезать птице... И если ноги отрезать – тоже.

Не знаю уж, что мы давали друг другу, кроме свободы, но я его любила. Одного его и любила.

А потом появилась она. Лёля. Оля, Оленька, Олюша. Голубоглазая блондинка, барби-сайз. Два высших образования – юридическое и экономическое, а взгляд – ангельский, и руки маленькие, нежные, как белые лисенята.

Увидев, как он начинает оглядываться, стоит ей только отойти, искать ее глазами, как прижимает к себе – нежно и властно (не без пафоса, да, словно танго танцует), я поняла: все, прошло мое время. Вот кто теперь у нас королева бала.

Нет, я его знала, конечно, жеребца дурноезжего, знала, что вся эта бабья карусель никуда не денется. Но Оленька – это было насовсем. Если вдруг сама захочет.

А я очередей с детства не люблю, и вписываться в этот парк аттракционов у меня охоты не было.

Не спрашивайте меня, какая разница – и раньше ведь были у него другие, ну и что?

А ничего. Перетасовался стос, и карты легли иначе, и мне этот расклад не подходил.

Мы были любовниками – сколько? – года три, и я знала его как себя. Знала: разлюбил. И отступилась.

Видеть его я не могла. И не видеть – не могла. Куда мне было деваться, куда бежать?

Замолчала. В молчании человек становится цельным как орех. Твердым.

Утром гоняла собак. Днем садилась за мольберт, много писала, слушала всё египетский думбек, максум, максум, сломанный пополам, If you break my heart...

Сердце я еще не ломала. Руки, ноги, ребра – это было, а так вот – не доводилось.

И я слушала максум, максум, ветер пустыни, день за днем.

Случайно продравшись сквозь закруживший меня бесконечный ритм, я вдруг услышала тишину. Удивилась – дома у нас тихо не бывало. Огляделась.

Никого из посторонних не было, даже натурщиц. Виви, терпеливо застывшая среди подушек, смотрела на меня с состраданием. Артюша не столько писал, сколько бегал варить кофе, который я употребляла в промышленных количествах. И даже собаки, казалось, старались не цокать когтями по старому дубовому полу.

– Поплачь, тебе легче станет, – сказала Виви.

Я вытерла кисть, бросила в банку. Откинула голову, рассмеялась. Артюша тоже заулыбался. Виви встала с колен, защелкала пальцами, пошла к нам, пританцовывая, вращая бедрами.

Мы смеялись, танцевали втроем под арабские барабаны, собаки тоже развеселились, скакали вокруг, скулили, толкались.

Все-таки саундтрек, думала я, любовь – это музыка. Музыка разная бывает. А жизнь – вот она.

А через неделю позвонила Лёля. Оля, Оленька.

– Глория, здравствуйте... Это Ольга... Вы... меня помните? Приезжайте... приезжайте к нам, пожалуйста... – И плачет в трубку, сдерживается, но я же слышу. Тоненько так, как котенок.

Я подхватила и поехала. Ни о чем не думала, хотела видеть.

Дверь открыла она, Оленька. Глаза заплаканные, дергает покрасневшим носом, смешно, как кролик.

Милый мой, лютый, негибачый, не умеющий отступить, тупо нарвался на драку в подворотне. Били арматурой, похоже, трое, не меньше. Глаза заплыли, нос сломан, губы разбиты, размазаны по лицу – страшно смотреть.

– Врач был? – спрашиваю.

Оленька мотает головой:

– Нет... Не хочет... Не разрешает... – и ревет.

– Ладно. – Беру телефон, начинаю набирать номер.

– Ты... куда... звонишь? Гло... паршивка... не смей...

– Лежать. Плохая собака. Да не дергайся ты, Вовке звоню... Владимир Викторович? Здравствуй... Да, я. Да, по делу. Беда у меня. Кобеля избили на улице... Ну, известно, какого кобеля... Нет, руки-ноги целы, ребра, может, переломаны. Нос сломан. Почки отбиты. Кашляет кровью, ссыт кровью... Вчера... Ага. Ага. Спасибо... Ждем, спасибо.

Милый мой заползал в простынях, в горле заклокотало, на губах появилась розовая

пена.

– Он умирает, умирает! – завывала Оленька.

– Тихо, тихо. Никто не умирает. Смеется он. Привыкай, он смешливый. Что ж ты его не раздела, не обмыла? Присохло все...

– Не дает... Не пуска-а-а-а-е-е-ет... Не трогай, говори-и-и-ит... И-и-и-и-и-и-и. – Оленька горько заплакала, утираясь рукавом, как кошка лапкой.

– Ну, не плачь, все будет хорошо. Все хорошо. Да его палкой не убьешь, даже если и захочешь. Ну-ну. Поди вот водички вскипяти, а? Давай я приду сейчас.

Оленька кивает, всхлипывая, уходит на кухню.

Я наклоняюсь над милым над моим, осторожно глажу по слипшимся от крови волосам:

– Ох и баран ты, хабиби... Ну баран... Девку напугал...

Он снова булькает горлом, хватая за руку, целует пальцы разбитыми, сухими губами.

Чайник засвистал, я ушла на кухню, пошарила по полкам, заварила сонного зелья.

– На, отнеси ему.

Но Оленька вжалась в подоконник, испуганно мотая головой, – бедный маленький белый кролик.

Ладно, пошла сама, подняла милого моего на плечо (вот когда пожалеешь, что сиськи не выросли хотя бы третьего номера. Положила бы буйну головушку на мягкое, в сиськах любому спокойно лежится, а так – ключицы торчат, неудобно). Напоила, уложила, обтерла лицо водой с уксусом, стала срезать одежду, как с покойника, отмачивая перекисью там, где на кровь прикипело.

Оленька помогала толково, без суеты. Нос заострился, глаза сухие – храбрая девочка, просто не привыкла к такому.

Потом Вовка приехал, толстый, красивый, голова круглая, как футбольный мяч, ручищи как у мясника, и здоровый, здоровенький, просто пышущий здоровьем, словно сдоба – жаром.

– Ну, что тут у нас?

Сдернул простыню с моего сокровища, языком зацокал. Дальше там было еще красивше – по всему телу вспухшие черные и багровые полосы, ссадины, кровоподтеки. Чисто Кандинский.

Долго осматривал, ощупывал, потом нацепил на нос смешные круглые очки, сел писать.

– Ну что я тебе скажу? Каркас цел, ливер отбит, конечно, весь... Дурак ты, Костя. Слышишь меня? Тебе сколько? За тридцатник уже? А? Связки не те, кости не те... Восстанавливаться будешь долго... И с каждым разом – все дольше...

– Иди в жопу.

– Спасибо. Мне и тут неплохо. Гло, смотри, значит, это без рецепта не дадут, поэтому вот, а это бы надо, но я выписать не могу...

– Ничего, я у мамы попрошу.

– А, да. Забыл. Ну, тогда я тебе еще два наименования пишу, скажешь маме, она знает... Ну всё. Побежал я. Больные ждут.

– Спасибо тебе, Владимир Викторович.

– А вы что же, и не перевяжете его, и ничего? Так и бросите? – В голосе Оленьки пробивалась паника.

Вовка вопросительно на меня посмотрел, и я сказала:

– Это его девушка.

– А. – Вовка поправил очки. – Могу в простыню завернуть – и в формалин. Для сохранности. Девушка, милая, вы же видите, он весь – котлета отбивная. Будете примочки делать, мазь вон я оставил... Да вы не волнуйтесь так, это же не люди, это куклы гуттаперчивые... Отлежится, ничего с ним не будет. Вон Гло – двух лет не прошло, вся поломанная была, на костылях еле ползала. А сейчас – конфетка, не девушка. Каблуки,

осанка – балетная, а? Видите? Не переживайте. Встанет и пойдет. Ну всё. Бегу-бегу. Дай поцелую, ласточка моя. Завтра позвони, доложишь, как тут этот доходяга...

Я поцеловала Вовку в пухлую щеку и спросила:

– Вызвать тебе такси?

– Нет. Я на колесах. А, ты же не видела... Ну в окошко хоть выгляни, посмотри, какую я себе машинку прикупил.

Высунувшись по пояс в кухонное окно, я махала Вовке вслед.

Да, когда я переломалась и лежала в больнице, милый мой меня не бросил. Бегал каждый день, водил своих друзей-лабухов (спал с кем попало, а дружил вот почему-то с одними музыкантами), привел как-то целый духовой оркестр под окна, а в другой раз три заезжих грузина проникновенно, а капелла, исполняли у моей койки «Раненый Чапаев по морю плывет...» И позже не бросил, хотя я не очень-то годилась для любви – костыли, спина не гнется, пластика небрежно собранной марионетки.

Сам менял мне гипсовые корсеты, делал массажи, выгуливал, прислуживал как паж.

Простая игра, вот например: вы приводите калеку на джазовый вечер. Первым делом надо найти место, куда вашу сломанную куклу посадить. Потом – куда убрать костыли, чтоб никто не спотыкался, не ронял. И дальше все время следить – подать, принести, отвести в сортир, в конце концов. Можно быть при этом самоотверженным медбратом, серьезным, скорбным, а можно устроить спектакль, стать королевским шутком и пажом, заставить куклу смеяться.

Я закрыла окно и снова взялась за телефон.

Мама, которой я огласила список необходимых лекарств, сразу же всполошилась, закричала в трубку.

– Мам, успокойся, со мной все хорошо. Костика избили какие-то бандиты. А в больницу он не хочет, ну, ты его знаешь... Помоги, мам...

Мама, как всегда, была выше всяких похвал. Приехала сама, привезла все, что нужно, долго и дотошно осматривала моего милого.

– Кто смотрел? Я знаю? – спросила.

– Знаешь, – я хмыкнула, – Владимир Викторович, наш ветеринар, с конюшни...

У Оленьки вытянулось лицо, а мама и бровью не повела:

– Что ж, это правильно. Осла и должен лечить ветеринар.

Милый мой посмотрел на маму долгим, мужским взглядом – она все еще была очень хороша. Мама не смутилась, глянула в ответ презрительно, словно помои выплеснула в лицо.

Клиники скрестились, в воздухе запахло грозой – мама с Костиком давно и всерьез друг друга не любили.

– Как же вы мне надоели, – сказала я, и мама опомнилась – больной есть больной, подтвердила все Вовкины рекомендации, велела звонить, если что, и упорхнула.

К вечеру, умаявшись, я выползла на кухню покурить. Сидела на подоконнике, смотрела, как в темных облаках летит луна. Словно блюдечко под выстрел.

Пришла Оленька, включила свет.

– Уснул, кажется...

– Ну хорошо. – Я потянулась, хрустнула пальцами. – Пойду я.

– Ой, нет, Глория, не уходи, пожалуйста... Не бросай меня с ним... одну...

– Оль, надо идти. Там две бумажки на столе, и все написано, что делать... Вовкин телефон я тебе оставлю на всякий случай...

– А он правда ветеринар? – робко спросила Оленька.

– Правда. Но ты не волнуйся, Вовке не впервой этот конструктор собирать.

– Вы такие странные... Глория, останься, пожалуйста... Он при тебе спокойный и все делает, что надо... А на меня опять будет кричать... Если тебе Артем не разрешает, я сама позвоню, попрошу...

Я поперхнулась дымом. Мне? Артем?! Не разрешает?!!

Ах, ну да. Простая девочка, совсем из другого мира. Кто с кем живет – тот с тем и спит. Кто с кем спит – тот того и любит. Кто кого любит – тот того и слушается. Хорошо как все. Просто и хорошо.

А мы? Скоморохи, прости господи. Живем – словно следы путаем.

Оленька смотрела на меня с полным доверием, как на сестру, и мне вдруг стало муторно, как будто я собиралась ее в чем-то обмануть. Но я ведь не обманывала ее, ни в чем! Я честно освободила ей поле, оставила свою площадку для игр и свой сад, и свои камни, и свои зеленые луга, а то, что я считала все это своим, – так сердцу не прикажешь. И чего еще хочет от меня этот белокрытый цыпленок?

– Оль, Артем все... гхм... мне разрешает. Но я не могу остаться, у меня собаки. Большие. Очень. С ними работать надо вечером, утром, а то они весь дом разнесут... Сейчас я уеду, а завтра вернусь. Часов в десять утра, ладно? Собачек отработаю и приеду.

– Но... я его даже поднять одна не смогу... А вдруг он в туалет захочет?

Я молча пошла в ванную, порылась там в шкафчике, вручила Оленьке красный пластмассовый кувшинчик, поцеловала в лоб и уехала домой.

Дня через три глазки у щеночка открылись – спала опухлость с рожи, зашевелился, закапризничал, в сортир стал сам ползать, по стеночке, и даже пытался затащить меня в постель (Оленька, взявшая в своей конторе несколько отгулов, вынуждена была все же выйти на работу, и теперь мы дежурили у ложа скорбного главой и другими частями тела не вместе, по очереди).

Я осторожно надавала негодяю по битой морде, в любви отказала и пошла готовить гаспаччо.

Милый мой, поминутно морщась от боли, жадно пожирал протертую пищу и вел со мной интересный разговор.

– Значит, ты меня больше не любишь...

– Да что ты. Я буду любить тебя вечно.

– Ах, вот как. Ну, это хорошо. Это правильно. Ты меня успокоила. Но скажи мне, душа моя, что же тогда? Ты пропала. Не звонишь. Не появляешься. Три недели – ни полслова... И прости, но я подозреваю, что сейчас имею удовольствие видеть тебя только благодаря любезности тех трех урлованов, которые... м-м-м... превратили меня в тыкву.

Я подошла к нему, взяла из рук пустую чашку, салфетку, с нарочитой заботливостью отвела светлую прядь, коснулась губами лба.

– У тебя жар? Или голову таки насовсем отбили? Мы что, выясняем отношения? Мы? Выясняем? Отношения? Разбуди меня.

И, не дожидаясь ответа, ушла мыть посуду.

Милый мой поплелся следом, сел в старое деревянное кресло с высокой спинкой, повозился, пытаясь устроиться поудобнее. Но устроиться поудобнее там было невозможно, кресло диктовало царственную осанку, разве что затылок можно было чуть откинуть.

Я оглянулась. Светлые, легкие, словно выгоревшие на солнце кудри, тощее, длинное лицо... Профиль мог бы выглядеть благородно, но этот нос столько раз ломали, что он и сам не помнил той формы, которая была дарована ему от рождения. На скуле и переносице запеклись ссадины, вокруг глаз – черные фингалы.

Я рассмеялась – дон Енот Ламанчский.

– Ревность – это зло, – сказал мой милый.

Я пожалала плечами и спросила:

– Сварить тебе кофе?

– Да, будь добра. Ну хорошо. Ты не хочешь со мной спать. Черт с тобой. Но ты не можешь меня бросить. Я люблю тебя. Как друга. Как дочь.

– Дочерей не е. ут. Друзей – тем более.

Он легко впадал в ярость. Поискал, чем бы в меня запустить, не нашел, успокоился.

– Ну хорошо. Ты что же, всерьез думаешь, что любить можно только одну женщину?

Поверь мне, это не так. Поверь мне. Когда ты... ну... ладно, сама разберешься со временем. Что касается меня, то я не могу, более того, не желаю без тебя обходиться. Изволь объяснить – почему я должен...

В дверь позвонили, и я пошла открывать. В прихожей наткнулась взглядом на пару женских тапочек – розовых, пушистых. Они стояли недалеко от двери, как маленькие сторожевые собачки. Теперь каждая женщина, вздумавшая провести здесь ночь, знала: у этого дома есть хозяйка.

Раньше он этого не терпел. Они пытались, конечно (не тапочки – женщины), каждая оставляла какой-нибудь мелкий сувенир – духи, чулки, расческу, салфетку в помаде, – но он каждое утро недрогнувшей рукой отправлял все эти облетевшие лепестки любви в помойку.

Я? Я жила здесь, только пока была больна и не могла обходиться без посторонней помощи. Потом сразу сбежала.

Почему? Сто причин. Он был гораздо старше, и я не хотела жить с «папиком».

Никто не знал, что мы любовники. В тусовке, где все и всегда знали, кто кому и по какому поводу присунул под хвостик, нам каким-то чудом удавалось это скрыть. Прошлое – хорошее прикрытие. Нас считали товарищами, которых «связывает спортивное прошлое».

Мы не могли оставить друг друга в покое ни на минуту, пока жили вместе. Зачитывали фразы из книг. Напевали темы из Билли и Чарли. Лезли с разговорами: «Что ты сейчас делаешь? О чем ты сейчас думаешь? Давай поцелуемся?» – и это было невыносимо.

И вот еще что. Я не хотела его обманывать. И я не хотела заставлять его обманывать меня. И других. А другие будут, я знала, уж такие мы были веселые ребята, и пока я занимала стратегически важный объект, он не мог привести этих других домой.

А теперь эти тапочки. Б...ство и свободная любовь – найдите двенадцать отличий. Интересно, хоть кто-нибудь смог?

Снова позвонили. Я открыла, на пороге стояла Оленька, покрасневшая – торопилась, поднималась на четвертый этаж бегом. Она была на десять лет старше и на полголовы ниже, чем я. Нет, я не стану участвовать в тех американских горках любви, которые скоро, очень скоро мой милый устроит этой молодой, симпатичной и доброй женщине.

– Привет, – сказала Оленька. – Как вкусно пахнет кофе!

– Привет. Есть будешь? – Я взяла у нее сумку с продуктами.

– Кофе, сначала – кофе, можно? Ой, Костик, зачем же ты встал?

– Глория отказывалась меня кормить. Пришлось идти на кухню, отвоевывать кусок хлеба и миску супа.

– Что поделаешь? Естественный отбор. Поэтому хлеб и суп достались тому, кто сильнее и моложе, то есть мне, – включилась я.

Оленька испуганно посмотрела на меня и даже слегка побледнела. Милый мой рассмеялся, обнял ее, усадил к себе на колени:

– Что же ты всему веришь, простая душа? Разве можно?

– Пусти! Тебе же больно! Тебе тяжело. – Она попробовала встать, но он крепче прижал ее к себе, поглядывая на меня лукаво, с некоторым вызовом.

Нет, он не считал любовь поединком. Скорее – танцем. С одной партнершей, с двумя, на круг. Вот и сейчас он приглашал меня продолжить этот танец, но я так устала за последние дни, те дни, что была сама себе Шейлоком, пытаюсь отрезать живой кусок плоти – любви, которая никак не желала умирать, что мне было все равно, кого он там обнимает.

– Кофе остыл, – сказала я. – Сварить свежий?

– Ну куда мне? Как раз хорошо. Оленьке вот свари. – Передние зубы, как ни странно, ему не выбили, но нижние коренные, слева, выворотили почти что вместе с челюстью, поэтому ни пить, ни есть горячее он не мог. – Мы разговаривали о любви. И дружбе. Что ты там говорила, Гло?

– Я говорила, что в женском кодексе чести, написанном кровью...

– Кровью сердца, я надеюсь?

– Да. Спасибо, что спросил. Кровью сердца. Так вот, восьмой пункт женского кодекса

чести, написанного кровью... э-э-э... сердца, гласит: мудака любить не зазорно. Потому что любовь – страшная сила, противостоять ей смешно, грешно и невозможно. Будешь омлет? С помидорами? – спросила я у Оленьки, она невнимательно кивнула, как ребенок, которого отвлекают от сказки. – То есть полюбить мудака – это несчастье. Что-то вроде стихийного бедствия – с каждым может случиться. А вот дружить с мудаком – это извините. Кто с мудаком дружит, тот сама дура, и весь разговор. Преступление против здравого смысла...

– Здравый смысл? Где-то я это слышал... Это что?

– А у Оленьки спроси. Что такое здравый смысл. И доброе сердце. Тебе будет интересно, много нового узнаешь... И совесть, да, вот еще, спроси, что такое совесть. – Я выложила омлет на тарелку, посыпала зеленью и поставила перед Оленькой.

– А ты, значит, не знаешь? Ну-ну. Но дружить со мной отказываешься. Потому, что я мудака?

– Но ты же сам сто раз говорил. – Я невинно посмотрела на него.

– А ты, значит, поверила. И кто ты после этого? Не дурочка ли? Следовательно, раз ты и так – дура дурой, извини, то тебе с мудаком дружить – самое то. Ничего не теряешь, ни грана этой твоей девичьей чести, или чего там. Логично? Ну логично же? Оленька, ну скажи ей. Я вот никаких противоречий не вижу.

Оленька опустила голову. Она даже в шутку не могла обозвать кого-то дурой.

Я сварила кофе, влезла на подоконник, закурила.

– Точно, никаких противоречий. Вполне гармоничные отношения. У нас ведь гармоничные отношения, хабиби? Только вот какая штука, дорогие мои. Я уезжаю из этого города.

– Куда? Надолго? – обеспокоился мой милый.

– В Харьков. Надеюсь, лет на пять. Учиться. В художественное училище хочу поступить.

– Какого дьявола? Зачем тебе? Да и этот твой, бородатый, он тебя не отпустит. Проклянет.

– Уже отпустил. Сказал – учиться надо у разных людей, а то так навсегда и останешься учеником такого-то.

Милый мой отставил чашку, посмотрел на меня. Взгляд был долгим, тяжелым, холодным. Чужим. Фирменный взгляд. Я называла его – рыбий глаз.

Бесполезно. Мы оба были упрямы.

– Та-а-ак. Ну ладно, девы. Отпустите-ка старика прилечь...

Оленька, сидевшая у него на коленях, встала, и милый мой, тяжело опираясь о стены, молча убрался в спальню.

– Ты правда уезжаешь? – спросила Оленька.

Я кивнула и щелчком отправила окурочек в полет из открытого окна. Чем дальше я думала эту мысль, тем больше она мне нравилась. Бежать надо не от, а к.

Мне хотелось учиться. Мне хотелось пожить в чужом городе – не мимолетным гостем, а долго. А останься я здесь... Что меня ждет? Я не смогу с ним расстаться, теперь я это знаю, у меня не хватит сил совсем его не видеть. И что? Я стану кружить койотом поблизости, и моя любовь превратится в интригу, в злую игру, в морок, в обман, в вечное чувство вины? Ну нет.

– Вы та-а-кие странные. И так похожи. Как родственники. Даже разговариваете одинаково. А я... Я ему не подхожу... Не понимаю ваших шуток. И вообще, не понимаю его. Он все время злится. И... я боюсь... он так неосторожен... Я боюсь... что он...

– Подходишь, еще как. – Я закурила следующую и с наслаждением выдохнула дым в окно. – Противоположности сходятся. Дополняют друг друга. Здравый смысл и доброе сердце... Кое-кому этого очень не хватает. А я... Ну, ты понимаешь, нам нечем друг друга удивить. Это очень скучно. Может быть, и я найду себе когда-нибудь синеглазого блондина, доброго и здравомыслящего. – Я подмигнула Оленьке, она слабо улыбнулась в ответ. – А то, что он куда-нибудь вляпается... Что делать, у него работа такая. – Милый мой трудился в

кино каскадером. Работал. В кино. Каскадером. Даже сказать смешно, каждый нормальный человек знает, что в кино не работают, а лишь смотрят золотые сны и раздают автографы. Разве это работа? Бедная Оленька. – А так... Пить ему не давай, он как напьется – сразу в разнос идет, себя не помнит. И по возможности в тачку с ним не садись. Водит оч-чень неаккуратненько...

– Не беспокойся, – серьезно кивнула Оленька, – я буду его беречь...

– Себя побереги.

Я вышла из парадного, глубоко вздохнула, огляделась. Небо было томным, темным, грозовым, крыши сияли серебром, ветер рвал листья с тополей. К дождю.

На мне были новенькие лаковые туфли, жаль было бы их испортить, и я забрела в маленький тир, что был неподалеку.

Я заходила сюда нечасто, только если настроение было скверным, но Петр Антонович, старикашка-смотритель, меня узнавал, всегда здоровался и кокетничал со мной.

– А! Добрый час, счастливая минутка! Вот и мой ворошиловский стрелок! А ну, шелупонь, разойдись.

Возле стойки, как обычно, ошивалась стайка подростков, которые робели меня, совсем взрослой девушки, и от этого вели себя нагло.

– Разойдись, разойдись! Вот вам девонька сейчас покажет класс! Учитесь, шантрапа! Вот тебе духовушечка, зайчик мой, вот тебе пульки...

Я вложила пульку в гнездо, вскинула винтовку, прицелилась, и на меня снизошел покой.

Стрелять я любила с детства – отец еще учил. Приклад уютно, ласково, как кошечка, прижимался к щеке, я прицелилась в белый кружок над жестяным корабликом, сдвинула предохранитель, нажала на спуск – снаружи громыхнуло, и дождь обрушился на раскаленный солнцем летний город.

Кораблик со скрипом перевернулся.

Я уложила всех пиратов, выбила банки в нижнем ряду, и дедок стал запускать на тросиках маленькие бумажные мишени.

Дети выхватывали у старика бумажки, кричали: «Десять из десяти! Десять из десяти!», на улице бесновалась гроза, а меня словно и не было здесь, я видела только прицел, ладно совпадающий с темным кружком мишени, надавливала на спусковой крючок, переламывала винтовку, вкладывала следующую пульку и снова стреляла.

В голове было ясно и пусто, словно все тяжелые мысли вымели новым веником, словно какая-то старательная тетка прибралась там, протерла все влажной тряпкой, распахнула окна, пустила в дом свежий ветер.

За этим я и ходила в тир. Когда стреляешь, вся суета отступает – и страх, и сомнения, и злость, остается только ясность пути – что, почему и зачем я делаю.

Я положила духовушку и сказала:

– Все, Петр Антонович. Сколько с меня?

– Да нисколько! Да нисколько! Это ж чистый цирк! Открытый урок! Чтоб шелупонь эта училась, а то хулиганье, все пиво по подворотням, а в армию кто пойдет? Родину защищать кто будет? Бабоньки? Эх вы... мужики! Все на баб, все на баб... И коня на скаку, и все такое...

Мальчишки обиженно загудели, споря с дедом и отстаивая свою мужскую честь.

– Ты, дед, не крути, а давай медведя сымай со стенда, – сказал внезапным басом один низенький, загорелый до черноты, – она ж все выбила. Приз, по совести, получить должна. Давай, неча зубы заговаривать, сымай медведя.

– Ох я калоша старая... А ить твоя правда, Николай! Бдительный, молодец! – Дед зашаркал к стенду, на котором висели призы – две игрушечные винтовки, чешская ваза, пластмассовый пупс и огромный, набитый опилками медведь.

– Не надо, Петр Антонович, – встревожилась я, когда дед потащил к стенду стремянку.

– Я подсоблю, ничего. – Николай легко перемахнул через стойку, сам влез на стремянку и принес мне медведя. – Вот! Запылился тут малёхо. – Он стал отряхивать игрушку, сплошь припорошенную пылью. – Это ж скоко он тут висел? Никто не поверит, что медведя взяли, а, пацаны! Да еще... э-э-э... м-м-м... девушка! Это ж скоко он тут висел!

Я приняла дар, раскланялась, поблагодарила старика и пошла к выходу.

За дверью дождь стоял стеной, и только в лужах прозрачные водяные черти отплясывали бешеный рок-н-ролл. По тротуарам неслись потоки воды, люди жались под козырьками магазинов, ветер таскал деревья за косы, тучи клубились, взрываясь грозowymi разрядами.

Я подумала минутку и вернулась. Мальчишка опустил ствол, стесняясь «мазать» при мне, а Петр Антонович спросил:

– Сильно льет? Переждешь?

– Нет, спасибо, пойду. Туфли вот жалко... Можно оставить?

– Оставляй, дочка, конечно, оставляй! Сберегу! Ох, беда-то, ни зонтичка у меня нету, ни дождевика... Может, переждешь? Или торопишься куда?

– Тороплюсь, Петр Антонович, – соврала я, сняла туфли и на цыпочках по холодным плитам пола, прижимая к себе медведя, вышла вон.

Вышла – как нырнула. Сверху рушились тяжелые потоки воды, прибивали к земле, снизу было по щиколотку, тащило, щекотало, медведь сразу налился неживой тяжестью, платье облепило бедра, шпильки посыпались из волос, и те поползли по спине влажными змеями.

Дождь был теплым, и асфальт там, под водой, горячим, но минут через двадцать я стала коченеть, ноги замерзли, лицо словно бы прихватило льдом изнутри, и в свое парадное я вбежала, стуча зубами и дрожа как лист.

Дома было пусто – и Виви, и Артема где-то носило, а собак я еще раньше развезла по хозяевам.

Усадив медведя у порога, я, скидывая мокрую одежду, прошла в ванную, открыла воду и снова полезла под дождь – горячий, местного значения.

Я стояла, упираясь лбом в кафельную стену, струи воды барабанили по плечам, мокрые волосы тяжело, до боли, тянули затылок, и мне вдруг нестерпимо захотелось от них избавиться.

Я выбралась из ванной, прошла в комнату, оставляя мокрые следы, порылась в ящике стола, достала старую папину бритву, собрала волосы в хвост и отпилила у самого затылка. Голова сразу стала легкой, как воздушный шарик, казалось, еще минута – и я взлечу, но и этого мне было мало, я села на бортик ванны и аккуратно обрилась наголо.

Протерла зеркало, и оттуда на меня испуганно глянул глазастый, тонкошейный мальчик, похожий на осленка.

Я посмеялась, прибрала волосы с пола, закуталась в цветастый восточный платок, влезла в теплые носки, подошла к окну, закурила.

Дождь все лил, пейзаж за окном выглядел смазанным, как на нерезкой фотографии.

Я бродила по дому, собирала вещи, курила, сушила медведя феном, слушала музыку.

Под утро вернулся Артюша, мокрый, в напрочь раскисших сандалиях, с веткой акации в цветах. Увидел меня, беззвучно рассмеялся, стал гладить холодными ладонями по босой голове:

– Какая же ты смешная, Гло! Вот дурочка... Ду-у-урочка... Когда едешь?

– Утром, думаю. Поезд есть в семь сорок, постараюсь успеть. Вот ключи, тут чемодан со всяким бабским барахлом, отдашь Виви... Книги только... Ума не приложу, что с ними делать...

– Я соберу, отвезу к родителям. Пойдет?

– Да, спасибо. А вы тут не останетесь?

– Не-а, съедем, наверное. У Виви мужик какой-то появился...

– Понятно. Медведь вот еще... Вы медведя не бросайте, он трофейный, на счастье.

– Да ты что?! С собой тогда бери, на удачу. Тебе же экзамены сдавать...

\* \* \*

– «Лесопарк», конечная, просьба покинуть вагоны! – прозвучало в динамике.

Я, задумавшись, все пропустила – не посмотрела, как там без меня городской рынок и синагога, и узкие центральные улочки, мощенные брусчаткой, – все, все пропустила.

Хорошо хоть нельзя пропустить остановку, если едешь до конечной.

Только из-за этой моей дурацкой способности ловить ворон в любых обстоятельствах и при любых условиях я не садилась за руль автомобиля. И это было очень неудобно.

Ехала бы сейчас в маленьком «рено» с распахнутыми окнами и горя не знала.

Я послушно покинула вагон и пошла вдоль парка к автобусной остановке.

На остановке теснилась целая толпа народу, едущего за город, и все с кладью – большими клетчатými сумками, маленькими деревцами, завернутыми в крафт (разве их не весной сажают? – подумала я), картонными ящиками, какими-то узлами – словно беженцы.

Плакали дети, ругались бабы, мужики, утирая пот со лба, пропускали по пивасику, и меня вдруг замутило, даже думать не хотелось, что я тоже полезу в набитый всем этим автобус.

Но я полезла и втиснулась, и повисла на поручне у самого выхода. Маленький желтый автобус с трудом захлопнул двери и, тяжело покачиваясь, повлек нас прочь из города.

Публика благоухала пивом, семечками, дешевым табаком и потом, ворчала, переругивалась, устраивалась в брюхе нового левиафана, и меня, разумеется, не хватило надолго.

Я вышла на первой же остановке, подумав: каких-то три километра пройти пешком – как нечего делать!

Закинув рюкзак на плечо, я пошла вдоль трассы.

Зрелое осеннее солнце бесстыдно вывалилось из-за облака и палило вовсю. Машины мчались, поднимая клубы пыли, ветер задирает кустам подолы, швыряет разноцветные листья на дорогу.

День был в зените.

\* \* \*

Такой я и явилась незнакомому городу – с огромным медведем, крошечным рюкзаком, лысая, в старых, разбитых «мартинсах», черной майке и джинсах.

Меня больше не беспокоило то, как я выгляжу, – теперь я знала, что могу быть любой, какой захочу, а остальные пусть сами разбираются.

Медведь помог – в училище я поступила. Правда, из общаги вылетела еще на абитуре – мой дикий нрав никак не позволял мне ужиться с вахтерами, комендантами и другими контролерами чужой жизни.

Деньги у меня были – незадолго до отъезда я продала свое английское седло, которое непонятно за каким бесом два года пылилось в чулане.

Я сняла небольшой флигель в частном секторе, и это было странное место – от деревенского там остались все бытовые неудобства и неумная любовь к сплетням, а от городского прибавились вечная спешка и недоброе, подозрительное отношение к людям, но мне были по сердцу и цветущие абрикосовые деревья, и гогочущие гуси на дороге, и ледяная, вкусная вода из колонки, и покойный, вросший по самые окна в землю деревенский дом.

У меня не переводились гости, и мне нравилось жить так – немного на отшибе.

По полу, по столам и табуреткам были расставлены натюрморты – золотые тяжелые тыквы, яркие горькие перцы и чеснок, и яблоки, глиняные кувшины, бутылки цветного стекла. Я снова обросла книгами, мужчинами, друзьями.

Учиться было интересно и весело.

Студенческая компания мало чем отличалась от покинутой мной – те же хиппи в расшитых цветами джинсах, панки в рваной коже, какие-то безумные фрики, горсть перепуганных насмерть маминых дочек с косичками, в белых носочках – все они каждое утро, груженные как муравьи планшетами и тубами, набивались в училищный двор, перешучивались, делились тайными знаниями, рыбными местами – где бы подхалтурить и урвать немного денег, смеялись, курили табак и травку.

Одного мне не доставало – собак. Без них, без привычного сопения, возни и лая, без этой мохнатой братии я чувствовала себя сиротой.

Собака – лучший собеседник для молчаливого человека, а тогда я была уверена, что болтовня – это зло; если ты можешь сказать обо всем, что ты видишь и чувствуешь, то рисовать тебе незачем.

Но брать собак на воспитание, как раньше, я не могла – учеба отнимала слишком много времени, – а свою заводить не хотела. Мой любимый пес погиб несколько лет назад, и я все не решалась взять другого.

Так и ходила в сиротах до второго курса.

Поздней осенью, в конце ноября, мне неожиданно подарили щенка. В гости завалилась компания дружественных актеров, которым мы делали декорации к спектаклю, и один из них вынул из-за пазухи крошечную собачонку:

– Он, как и ты, тридцатого октября родился... Ну, я и подумал – как есть тебе подарок...

Щеночек был таким маленьким, что помещался на ладони, только хвостик свисал. Усатая мордочка, а глаза синие-синие, подернутые младенческой молочной дымкой.

– Это что? Это – собака? – опешила я, привыкшая к здоровенным псюгам.

– Собака, собака, не сомневайся.

Я взяла звереныша на руки, и он слепо ткнулся мне в шею теплым носом.

– Слушай, мне его и кормить-то нечем...

– Спокойно, все вопросы решены! – И даритель стал доставать из широких штанин баночки с детским питанием.

Так у меня появилась собака. На общем собрании пса решили назвать Тарасиком – в честь светоча национальной культуры и за усы.

Однако привыкнуть к мысли, что это все же собака, мне никак не удавалось. Собака – это 60 см в холке и 40 кг веса – как минимум. А то, что ползало у меня по дому, смешно, вприпрыжку следовало за мной до колонки с водой, заливалось надрывным плачем при попытке спустить его с рук – нет, это не собака. Неведома зверушка, но точно – не собака.

Понятно, что оставлять дома в одиночестве такого кроху было глупо и жестоко, и я повсюду таскала его с собой.

С училищем проблем не случилось – у одной из моих однокурсниц была свежая, новорожденная двойня, победно вопившая из коляски, стоящей тут же, в мастерской, и по сравнению с этими светилами все другие звезды меркли.

Зверек оказался смышленным – на лекциях мирно спал в гнезде из шарфа, научился различать преподавов по половому признаку, с женщинами позволял себе всякое, лез в руки, а от мужчин тихарился под мольбертом.

Я относилась к нему, пожалуй, как к кошке – кормила, ласкала и ничего не требовала, но, месяцев восьми, он страшно удивил меня, устроив классическую разборку скверно воспитанных псов на тему: «Кто в доме хозяин и кто в прайде лев».

– Да ты – собака? Настоящая? Да ладно? И кто бы мог подумать! Ну-ка, иди сюда, ща я тебя воспитывать буду, – хохоча, приговаривала я, бережно фиксируя за холку не в меру разбушевавшегося кобелька, пытающегося куснуть меня за пальцы.

С воспитанием вышло не очень хорошо. Нет, крови терьера сказались, и мой усатый метис, при всем своем живом нраве, вырос разумным, послушным и терпеливым псом. Но самомнение у него было адское, он вел себя так, будто был размером с теленка, а не с

крупную мышь. За это и за привычку задира́ть крупных собак мои друзья дразнили Тарасика военно-морской свинкой, а я, боясь, что полудурка убьют в драке, придумала для него комплекс упражнений, развивающих мышцы шеи, спины и груди.

Больше всего на свете (кроме меня, конечно) он любил хватать и держать – и к училищу я обычно неспешно шла, размахивая тряпицей, на которой висел, самозабвенно вцепившись зубами и поджав лапки, мой герой.

В аудитории я вешала тряпку на крючок для верхней одежды, и собака тоже оставалась висеть, пока не устанут челюсти и шея, повиливая хвостиком и кокетливо стреляя глазами на входящих.

К нему так привыкли, что даже мастера спрашивали: «А где Глория и Тарасик? Тарасика не вижу, Глория, что, не пришла сегодня?»

Жизнь улыбалась мне, и было у меня все, что нужно для счастья, – прекрасный пес, мощный, но легкий, любимая работа, дом, книги, хорошая компания.

А любовь? Да полные карманы. Я увлекалась, влюблялась, и вокруг все время сновал рой галантных малоросских кавалеров, лагідних и романтичних – садочки, ставочки, коханья, традиция нежных ухаживаний была неотъемлемой частью местной культуры, и если вы, северные девы, чувствуете себя заброшенными и нелюбимыми, поезжайте на Украину, там вам скучать не дадут.

У меня даже появился постоянный мужчина, свихнувшийся на Средневековье поэт, длинный, тощий, носатый, с темным горящим взглядом и темпераментом незабвенного Джакомо Савонаролы. За любовь к пламенным обличающим проповедям я дразнила его «всему виной порочность пап».

Он смешил меня одним своим видом, он мне нравился, мне не было с ним скучно, мы «вели жизнь, полную смеха и бедности», и каждый раз, вспоминая об этом времени, я улыбаюсь.

Только одно было плохо.

Каждое утро я просыпалась от боли, не от радости. Мне было так больно, что казалось, лицо заляпали ледяной грязью и она, подсыхая, стягивает его в мучительную гримасу.

Тарасик, чуя неладное, скулил и облизывал мне руки, а я, не открывая глаз, переходила вброд эту реку забвения, между сном и реальностью – попросту говоря, шла умываться, и у зеркала все медлила открыть глаза, страшась увидеть искаженное болью лицо.

Но из зеркала на меня смотрела спокойная, здоровая двадцатилетняя женщина, темноволосая, с изменчивыми светлыми глазами, отличающаяся прекрасным аппетитом, завидной работоспособностью и некоторым легкомыслием.

Волосы отросли, да, но голова осталась легкой. На сердце было тяжело, словно там застряла серебряная пуля и холодила, и мучила.

– Хочешь вернуться? – спрашивала я, но та, в зеркале, улыбалась, вздыхала и отрицательно качала головой.

Неужели это навсегда, ужасалась я, неужели я – как папа?

Мой отец совмещал, казалось бы, полностью противоположные качества – он был ужасным, чудовищным бабником, но при этом однолюбом. Я, к сожалению, была похожа на него во всем и почему бы не в этом тоже?

Страхи мои оказались напрасными. Два года спустя, одним из майских утр, я выплыла из сна и привычно прикусила губу, ожидая атаки боли.

Но боли не было. Я открыла глаза.

В доме было тихо, как бывает только в деревенских домах, глиняные стены смягчали и приглушали утренний заоконный гвалт, вопли певчих самцов кур.

Тарасик, сладко посапывая, спал у меня на макушке, как кот, мужчина раскинулся рядом, за ночь обвинившись немислимим жгутом из простыни, и был похож на Лаокоона, удавляемого змеем.

Я встала, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Нет, мне не приснилось, сердце мое

не болит.

– Костик, – негромко сказала я проверочное слово и повторила: – Костик.  
Нет, ничего. Пусто. Легко. Хорошо. Все прошло. Я разлюбила тебя, хабиби.

Целый день я чутко прислушивалась к себе, как сапер к неизвестному взрывному устройству. Но нет, ничего не было.

Сердце мое было свободно – ни боли, ни жильца, ни ноши. Пусто. Легко. Хорошо.

– Свобода! Свобода! Осы, цветы и драконы! Львы, орлы и куропатки! Ура!!! – орала я, бегая по училищному двору, не в силах удержать радости и облегчения, захлестнувших меня, а Тарасик с лаем носился следом.

Несколько человек с удовольствием присоединились к нам – в нашем приюте умалишенных некоторая эксцентричность считалась хорошим тоном.

Я не могла делить эту свободу ни с кем. Я хотела насладиться ею в одиночестве, как скупец своими сокровищами.

Спустя три дня я сняла себе другую квартиру и переехала туда, прихватив пса, плед, связку книг и медную джезву, без тени сожаления оставив своего поэта.

Поэт, однако, не был статистом моих снов и устроил мне феерические проводы любви, затянувшиеся на пару месяцев.

Жить с холериком весело, но расставаться с холериком – это кошмар.

Он пил, скандалил, закатывал ужасающие сцены на людях, и я до сих пор удивляюсь, почему ему не платили за эти публичные выступления – чтобы прекратил или чтобы продолжал, все равно.

Я не держала на него зла. Знала: во всем виновата только я одна. Нет, я не мучилась угрызениями совести, была слишком счастлива для этого, я просто знала, что поступила с ним низко и бесчестно и, наверное, когда-нибудь именно за это буду гореть в аду. Это знание я приняла спокойно, как данность.

Я никогда не обманывала его, не говорила, что люблю, но разве это имеет значение? Человек живет с кем-то, кто ведет себя как любящий – спит с ним, разговаривает, смеется, держит за руку, а потом вдруг оказывается, что все это – пустота. Ничего не было, не было ничего, этот кто-то просто пережидал грозу, набирался сил, зализывал раны, а тот, наивный, любящий, для него – просто промежуток. Обидно тратить время своей жизни на то, чтобы быть для этого бесчестного кого-то промежуток, перевалочным пунктом, дешевым отелем, в котором проводят ненастную ночь, а потом покидают, не оглянувшись.

Никто не вправе так поступать с любящими, никто не может безнаказанно пожирать чужую жизнь.

Мне надо было подумать об этом и о многом другом, и хотя сессия была на носу, я позвонила Артюше, и мы сорвались в Крым – *«писать марины, жевать рапаны и строить жизненные планы»*.

Мы не потерялись за это время, Артюша, бывало, наезжал в гости, летом и ранней весной мы вдвоем или с целой ватагой приятелей уезжали в тот же Крым, а зимой, в каникулы (мои каникулы), шатались по трем столицам – Питер – Москва – Киев.

В этот раз решили ехать на Форос.

Май выдался жарким, дорога – длинной, до побережья мы добрались глубокой ночью, пыльные и измученные.

Тарасик, стоически переносивший все тяготы пути, обиженно лаял на море, в который уж раз обманувшее его, подло подсунув изнывающей от жажды собаке глоток горькой, соленой воды. Ночное море только тихо смеялось в ответ.

– Ну всё, дома. Фу-у-у-ух, – сказал Артюша, снимая майку и вытирая ею лицо. – Полезли на тот камень, будем слушать море, смотреть на звезды, а потом спать.

– Как бы Тарасик оттуда не скovyрнулся ночью...

– Он дурак, что ли? Там полно места, полезли... Только искупаемся сначала, давай?



Я все думала, отчего мне с ним так легко, ведь я, в сущности, мало его знала, так мало, что практически ничего не могла сказать о нем словами.

Мы не росли вместе, но мы выросли вместе, а еще учились у одного мастера. Может быть, в этом и было дело, ведь побег от одного дерева обычно схожи.

Наверное, так относятся друг к другу кровные родственники. Ты знаешь о человеке что-то главное, инстинктивно, без слов, тебе доступны все пароли, все уровни понимания, код ДНК, и он знает о тебе столько же, и поэтому нет ни малейшей возможности притвориться, сыграть, солгать, и даже если ты сам запутался или усомнился в себе – ведь люди часто лгут прежде всего себе, – то рядом с ним эта ложь отступает и в твою жизнь вносится ясность. Как ветер с моря.

С другими так не получалось. Я как всякий скрытный человек знала, что вовсе необязательно прилагать усилия, для того чтобы ввести людей в заблуждение относительно себя. Они прекрасно справляются сами. Иногда мне казалось, что человек человеку – только повод для иллюзий.

Мы пробыли тогда в Крыму – сколько? – да не больше недели, пожалуй.

В предпоследний день полезли на гору, в церковь, долго разглядывали иконы, писанные местными мастерами, удивлялись цвету – нахальному, наивному, слишком кричащему, как на лубочных картинках.

– Ты подумай, какая наглость – х. чить голубеньким по розовенькому! – возмущался Артем, когда мы возвращались вниз, к морю.

– А вот, смотри. – Я указала на небо, и мы остановились, засмотревшись на закат.

Солнце почти утонуло за горой, и по ярко-розовому небу тащились голубенькие облачка.

– Да, слушай, вот когда не врубаешься, все сразу дураки вокруг. Вот же этот цвет, вот он, блин, все как есть снял, подлец, а завезти эти доски хоть в Москву, там же все плевать будут – как вульгарно да как примитивно!

– Ага, и питерская изысканная серебристая гамма, врубись. А какой ей еще быть, там солнце только по праздникам включают.

– По большим, точно.

Обменявшись этими тонкими замечаниями, мы переглянулись и расхохотались. Простые открытия – это всегда немножко стыдно.

Но я потом часто вспоминала эти крымские иконы. Если не знаешь причин – следствия всегда кажутся неумными, наивными, смешными.

Вечером я лежала на пузе и в свете костра читала Джеффри Монмутского, Тарасик грелкой пристроился у меня на поясице. Артем сидел по-турецки, курил трубочку, разбирал наброски.

Сладкий дым марихуаны смешивался с горьким можжевельным, звезды висели низко-низко, задевая круглыми брюшками кроны деревьев.

– Вчера еще был уверен, что я – великий художник, а сегодня что-то сомневаюсь, – сказал Артем, бросая в костер очередной набросок.

– А давай тебе ухо отрежем?

– Думаешь, поможет?

– Как не помочь. Верное средство.

– Нет, погожу пока. Буду весь в ушах, как сакура в цвету. Этот, как думаешь? – Артем показал мне картинку.

– Оставь, хороший.

Артем снова зарылся в ворох бумаг, Тарасик сучил лапами, взлаивал, и во сне продолжая битву с ежами. Я перевернула страницу.

– Ну как там бритты? Как дела у них? – озабоченно, как футбольный болельщик, поинтересовался Артем.

– Да б...! – Я захлопнула книгу. – Вот скажи мне, Артюша, как мужчина женщине.

Скажи. Кроме пьянства, б...ства и мордобоя есть у вас, самцов, какие-нибудь еще традиционные развлечения, освященные веками?

Артюша задумался на минуту, а потом с апломбом произнес:

– Искусство, детка.

– А.

Я снова открыла книгу и погрузилась в историю злоключений короля Леира, сухо пересказанную стариком Джеффри.

– А хорошо все-таки, когда Бог, – сказал Артюша.

– М-м?..

– Бог, говорю, – это хорошо. Ну, этот, на горе. Сидел себе спокойно, писал портрет Божьей матери. Богу. И тут все понятно. Кому пишешь? Богу пишу.

– Ну это все...

– Не-а. Я об этом вообще никогда не думал. Я и не верю. Наверное. Не думал никогда. А ты?

– В церковь не хожу. Попов не люблю. А так... Ну а с кем человеку еще поговорить? Только с собаками. Или с Богом. Навернись, бывало, с откуда-нибудь, чего-нибудь себе сломаю и говорю: «Ну Ты чего? Ты куда смотрел, блин? Вот, ребро сломала опять...» Или наоборот – сделаешь что-нибудь хорошее и говоришь ему: «Видал? Хорошо? Тебе». А кому еще? Людям, что ли? Ты когда картинку пишешь, ты что, думаешь, чего тебе люди скажут? Ты – им?

– Ну... не им. Себе. Самосовершенствование, типа. Путь самурая.

– Так с х... ли тебе вперлось самосовершенствование? Без Бога-то? Без Бога ты один, и путь твой скорбен, хоть и ясен, из п. ды в могилу – и досвидос.

– А ты веришь в вечную жизнь, что ли?

– Слушай, вечная жизнь – это дело не мое, с этим пусть они сами, а мне бы с этой разобраться. Врубись, Бог – это зеркало. Ну, скажем, я леплю глиняную голову, так? Или эскиз какой набрасываю. Я что делаю в процессе? Я подхожу к зеркалу и показываю ему, что наделала. И в зеркале вижу все косяки, где криво там, где поправить надо. А так, если прямо смотрю, невооруженным взглядом, то не вижу. Глаз замыливается. То есть Бог, по сути, вооружает взгляд, врубись. И через него ты видишь все свои косяки.

– Фигня какая, Гло. Тебя бы на х... сожгли приличные люди, как все ваше ведьмовское племя. Но я подумаю. Про зеркало. Про силу, опекающую и наказывающую, – это мне не очень, а про зеркало – вполне. Меня устраивает.

Утром мы разбежались – Артюша ушел на Чифут, в пещеры, через Симфи, а я поехала в Севастополь. Надо было возвращаться. Сессия – это вам не кот начал.

Я жила одна до зимы, в обычной городской квартире на этот раз.

Последний этаж, голуби, топающие по крыше, как слоны, – жуть; большая, словно бальный зал, комната с новеньким лаковым паркетом, квартирные хозяева все порывались привезти мебель, но я отказывалась, мне и так было хорошо.

Все необходимое было распихано по углам, в одном громоздились стопки книг, в другом – одежда на театральных вешалках, в третьем – письменный стол, в четвертом – низенький, жесткий топчан из буковых досок, которые мы накрали в какой-то мебельной мастерской.

Как все старшекурсники, я стала прогуливать училище. Придешь, получишь от мастера задание и по ушам и неделю, бывало, почти не выходишь из дома, думаешь, рисуешь эскизы – красота.

А в конце января пришла телеграмма от Артюши (телефона у меня не было): «беглецы придут утром. дождись дома. целую. артем».

Я почему-то встревожилась и всю ночь, зарисовывая елизаветинские костюмы, думала, что же, черт возьми, стряслось.

Часов в шесть утра Тарасик сорвался в прихожую с хриплым хрюканьем (это так он

лаял шепотом, знал, что нельзя шуметь, пока темно), я пошла следом и открыла дверь, не дожидаясь звонка.

У порога стоял Артем, держа за руку невысокую девушку, черноглазую, с темной прямой челкой. Макушки у обоих были аккуратно присыпаны снегом, как кексы сахарной пудрой.

– Привет, проходите. – Я посторонилась, пропуская их.

Девушка мне улыбнулась, и я инстинктивно подхватила ее под локти – она выглядела усталой или больной: тусклый взгляд, натянувшаяся кожа на скулах, напряженная, страдальческая складка у губ.

Я отвела ее в комнату, усадила на топчан. Артюша прошел следом, сгрузил на пол рюкзаки, присел рядом с ней, обнял за плечи.

– Чаю? – спросила я, Артем махнул рукой – потом, мол, – и стал расшнуровывать своей спутнице ботинки.

Я ушла на кухню – все-таки готовить чай. Ну, а чё?

Девушку, приехавшую с Артемом, я знала давно, ее звали Майя, и она была трудная Артюшина любовь.

Когда я впервые увидела их вместе, то сразу решила, что Майка – его девушка. Их взаимная любовь бросалась в глаза – нет, никаких театральных страстей, это было как «река Иордан спокойно несет свои воды...» Они выделялись на общем фоне. Вот именно, остальные сразу казались фоном, декорацией, и только они выглядели настоящими.

Но все было не так просто. У Майки был муж, правильный такой парень, больше похожий на яппи, чем на хиппи, а с Артемом они «просто дружили».

Муж, глупость какая, думала я. Да что такое муж? Из ЗАГСа? Сегодня есть – завтра нет. А тут такая любовь.

Конечно, я лукавила – ни меня, ни Артема в этот ЗАГС было не затащить и на аркане, хотя, казалось бы, почему и не сходить в ЗАГС с хорошим человеком? Бумажные клятвы, ни к чему не обязывающие клятвы перед людьми.

Но нет, за ними стояла тень тех, взаправдашних, клятв – «в горе и в радости, в болезни и в здравии...», а мы как дети верили в то, что не стоит давать обещания, которые не собираешься выполнять.

Поэтому муж – это было серьезно. Да Майка и сама была слишком серьезной. Девушка с легким тяжелым характером – обязательная, рассудительная хохотушка, «язвительна, но совершенно неагрессивна», так о ней однажды отозвался Костик, она всем нравилась, она просто не могла не нравиться. Очень маленького роста, с кукольным размером ноги, смуглокожая, как Суламифь, и хорошенькая, как птичка.

Артюша пришел на кухню, и мы наконец поздоровались как следует – обнялись и похлопали друг друга по спине.

Я заварила липовый чай и протянула ему чашку. Артюша устало обрушился на подушки у стены (да, на кухне мебели тоже не было – подушки, низкий китайский столик, мольберт у окна) и стал пить мелкими глотками, по-купечески вздыхая и фыркая.

– Э, кабан, а девушке отнести?

– Да спит она.

Я кивнула, села на маленький брезентовый стульчик у мольберта, положила на колени планшет и занялась делом. Захочет – сам расскажет.

Артюша допил чай. Налил себе еще. Закурил. Помолчал.

– Сбежали мы. Там такое началось, когда Майка ко мне ушла... Ты не представляешь. П...ц и мракобесие. Майкина мама истерила каждый день, проклинала ее, шлюхой обзывала. Ну, я, понятно, наркоман и неформал. А Леха – весь в белом. А Майка – шлюха и дура к тому же. Лехина мама подкарауливала ее у парадного, хватала за руки, плакала, умоляла вернуться. Леха собирался меня убить.

– Леха?!

– Прикинь, Леха.

– А ты чего?

– Ну, я, понимаешь, не хотел его трогать. Ну... понимаешь, не хотел. Но мне пришлось. Он меня чуть не придушил, напрыгнул сзади, как ягуар. Только он драться совсем не умеет. П...ц, в общем, апокалипсис сегодня. И все еще... Это ж какая радость для тусовки – сплетни, расспросы, чё-как... Майка... Ну, ты знаешь Майку... Она думает, что всем кругом должна... Майка ходила как под градом камней. Только дергалась. Совсем они ее извели, а виноват, выходит, я, понимаешь? Ну, я и вспомнил про тебя. И решил как ты – сбежать, увезти ее оттуда, а то она плачет ночью, думает, что я не слышу, а я дурак, что ли?

– Ты не дурак, ты – молодец.

– Ага. Только непонятно, что тут делать...

– А в училище не хотите поступить? Раз уж вы как я?

– Ты, Гло, заработалась совсем. Зима на дворе. До экзаменов – как до Киева раком...

– Есть подготовительные курсы. Такая платная услуга. Они, правда, с месяцок назад начались, но вписаться можно, потому что за деньги. И поступление, типа, гарантировано.

– Вот денег-то у нас и не до фига...

– Возьми в банке.

– ???

– Встань и возьми в банке, в жестяной, вон, на полке стоит. Там их полно.

– Гло, откуда у тебя деньги? Ты же транжира страшная...

– Так зима. Зимой их тратить лень, да и некуда, а я, ты же знаешь, параноик – собачку кормить, за квартиру платить, вот и зарабатываю... По инерции. Халтуры есть, наши как раз сейчас какой-то детский садик расписывают, вы тоже можете, кстати. Давай, ей, главное, без дела нельзя сидеть, а то будет думать-думать-думать о всяком дерьме и совсем перегорит. Завтра в училище сходите, запишитесь на курсы, живите пока тут, я у пацанов спальников наберу, совьем уютное гнездо разврата, и все нормально будет.

Артем и Майка записались на подготовительные курсы, сняли квартиру – недалеко от меня, буквально через дом.

Летом они благополучно поступили, Артем – на живописное, Майка – на оформительское (да, это сейчас дизайнер – друг человека, а тогда были художники-оформители, низшая каста, но Майка хотела именно туда, ей нравилось изобретать упаковки для пельменей и писать шрифты).

Майка была очень талантливой и умела учиться, она сразу стала отличницей и гордостью курса, с Артемом обстояло хуже, он был из тех, кто интересуется только «спецами» (предметы по специальности – живопись, рисунок, композиция), а остальное прогуливает, но таких было довольно, и мастера их часто прикрывали.

Мастер Артюше попался из «дедушек». Была у нас группа преподав, мальчишки за семьдесят, все бывшие фронтовики, люди по большей части несгибаемые, бескомпромиссные и упрямые.

Артюшин же Василь Платонович был еще и фанатичным украинским националистом, носил значок с жовто-блакитним прапором на лацкане и читал свой курс на «мове».

Артем тоже был изрядным упрямым, кроме того, пожалуй, ему просто не надо было больше учиться, в отличие от меня. Он был вполне состоявшимся художником к тому времени, ему следовало работать самостоятельно, а не «под руководством».

И с мастером они, казалось, не сошлись.

Василь Платонович, сухонький старикашка, в усах, как у Тарасика, с бандитским ястребиным носом, останавливался позади Артюши, когда тот писал, и некоторое время молча раздражался, покачиваясь с пятки на носок. Потом не выдерживал.

– Шо ти робиш? Ну шо ти мастиш? Хіба воно тут так? Га?

– Так, – спокойно отвечал Артюша.

– Ні, не так! – Василь Платонович оттаскивал Артюшу цепкой лапкой от холста, выхватывал кисть, ловко смешивал на палитре краски и тянулся поправить.

– Василь Платонович, не лезьте в чужую работу. Это вам не забор – перекрашивать. – Артюша перехватывал мастера за руку.

– Так, так. А шо ж це? Я тебе питаю? Чи тобі повилазило, шо ти не бачиш? Чи в когось шось із жопы виросло?

– У меня? Только ноги, – с тем же непоколебимым спокойствием отвечал Артем. – Из жопы растут только ноги, Василь Платонович, если вы вдруг не знали. Мы по анатомии проходили...

Василь Платонович беззвучно хихикал, отходил на пару шагов, упирал руки в бока и, хитренько поглядывая на Артема, начинал, угрожающе переходя на русский:

– Мехлевский, ты ж знаешь, шо я зверь?

– Знаю, Василь Платонович...

– Ты ж знаешь, шо на сессии будет море крови?

– Знаю, Василь Платонович...

– Твоей крови, Мехлевский!

– Да, Василь Платонович...

– Твою молодую кровь, Мехлевский, я буду пить на сессии стаканюрами, если ты не достанешь руки и очи из жопы и не приспособишь их к делу! Осознал угрозу?

– Да, Василь Платонович.

– Ото ж!

И на каждой сессии Василь Платонович валил Артюшу, ставил ему двойку по живописи.

Двойка по «спецу» – это было верное отчисление, но Василь Платонович строптивного ученика не отчислял, а настаивал на передаче. А передача – это три месяца самостоятельной работы.

Хитрый старикан бросал Артема в терновый куст.

Если кто-то из однокурсников жалел Артюшу и называл Василя Платоновича старым козлом, Артем вступался:

– Ты зря. Он молодец. Я на выставке его был зимой. Выставляется, прикинь, пишет! Восемьдесят два года! А он пишет! Мне не понравилось, конечно, я бы иначе сделал, но мы просто не сходимся. А так – он хороший художник. Врубной. Ты зря его козлом...

А с Майкой у Артема все было хорошо. Так хорошо, что зависть брала и всем, кто на них смотрел, сразу срочно хотелось жениться.

То есть они никому не говорили, что женаты, но выглядели как люди, долго и дружно жившие вместе, а не как влюбленные. Они не обнимались на публике, вообще ничего такого, только всегда ходили, держась за руки, хотя так могла сказаться многолетняя выучка системы «Штирлиц и его жена на свидании в кафе «Элефант». Да, все эти взгляды, они никогда не теряли друг друга из поля зрения и словно переговаривались: «Ты где?» – «Я – здесь, а ты где?»

Их взаимное притяжение было настолько велико, что им впервые за всю историю училища удалось примирить два вечно враждующих курса – живописный и оформительский.

Вальяжные живописцы традиционно презирали практичных оформителей, и те не оставались в долгу, а тут вдруг слились в большую общую тусовку, и вся эта тусовка вечно ошивалась на маленькой Майкиной кухоньке.

А, вот! Вот из-за чего они ссорились. Майка была очень хозяйственной, и Артем прекрасно готовил, но каждый из них втайне считал именно себя лучшим, чем другой, поваром, и на кухне они чуть не дрались.

– Не лезь! Уйди! Уйди отсюда, Мехлевский! Сегодня! Будет! Курица! В кляре! – шипела Майка, растопырив когти и наступая на Артема, чтобы оттеснить его от плиты. – С грибным соусом!!!

– С выгребным! Курица! В кляре! Лукина, ты совсем мозгами поехала! Еще бы козленок в молоке его матери!

– Ну если ты хочешь... милый... то завтра приготовлю. Нет, послезавтра. Завтра – сосиски в соевом соусе... А сейчас не лезь!!! Уберите его отсюда кто-нибудь, а то я за себя не ручаюсь!

Кто-нибудь обязательно находился, и Артема с хохотом отгаскивали от разъяренной Майки.

Он печально забивался в тесный угол между столом и холодильником, принимал позу умирающего лебедя и начинал заунывно стонать:

– Эта женщина меня убивает... Друзья! На ваших глазах гаснет светоч кулинарного искусства, я чахну в неволе...

– Как конь молодой, – саркастически заканчивала Майка.

– Тмин не забудь положить, – упрямо ворчал угасающий светоч.

И Артем перестал волочиться за женщинами. Они-то по-прежнему льнули к нему, как бабочки к цветку, а он был по-прежнему любезен, но – равнодушен.

Я про себя изумлялась – не верила, что такие люди меняются. Но Артем выглядел спокойным, счастливым и ни на кого, кроме Майки, не смотрел.

А потом все рухнуло.

Ну, не вдруг. Года полтора спустя у Артема началось то, что принято называть «творческим кризисом». И до чего же это паршивое время!

Когда это происходит в первый раз, ты думаешь: все, конец тебе пришел, из этой ямы не выбраться.

Сначала ты понимаешь: все, что ты делаешь, – полное дерьмо и чушь.

Потом ты понимаешь, что надо изменить. Понимаешь четко и ясно, видишь, как должен быть положен каждый мазок, хватаешь кисть, и... у тебя ничего не выходит. Все плохо. Все еще хуже, чем было. Усилия тщетны, результаты ничтожны.

Ты малодушничает, пытаешься вернуться к тому, что было, – но шиш, кажется, будто тебя выхолостили, кастрировали и мозг, и душу, все, что раньше получалось ярким, ну хотя бы ярким, теперь выглядит унылым, убогим и бездарным.

Впрочем, степень одаренности не имеет никакого значения. Речь идет об уровне мастерства, ином видении, все меняется, и ты оказываешься словно запертым в комнате, в которую прибывает и прибывает вода. Вот она достигает потолка, и чтобы не задохнуться, не утонуть, тебе остается только одно – пробить этот потолок головой.

Не самое приятное ощущение.

Артем замкнулся. Ходил хмурый, молчаливый, раздраженный. То кромсал мастихином холсты, а то сидел за рисунком – часами, сутками, до дыр процарапывая картон.

Потом запил, и это был неприятный сюрприз. Никто не ожидал, что добродушный, вечно обдолбанный Артюша когда-нибудь изменит Мари-Хуане с вульгарной водкой.

Пил тяжело, по-черному, лез в драки, валился в лужи.

Одно не изменилось – никаких женщин, только Майка. Связь их словно окрепла, но воды этой реки изменили цвет, стали темными.

Майка не ругала его, не жаловалась.

Однажды, увидев, как она в который раз вынимает его из лужи (была осень, поздняя осень, ветер с дождем, желтые листья в воздухе), я вдруг вспомнила страшное: летом, на птичьем рынке толстый самодовольный дядька, и у него клетка с белками-летягами. Один зверек совсем погибает от жары, сворачивается тугим клубочком с явным намерением покончить со всем, умереть, а другой, истошно визжа, трясет его маленькими, почти человеческими лапками, тянет к пустой поилке.

Я вспомнила, как Артем положил мне руку на плечо, сказал: «Тихо, Гло, тихо, сейчас разберемся», – и стал выгребать деньги из карманов.

Мы их выкупили, этих белок, какой-то сердобольный таксист бесплатным вихрем довоз

нас до зоопарка, мы были готовы упрашивать, клянчить о помощи, но ничего такого не понадобилось, зоопарковские лекари взяли клетку без лишних слов и кинулись спасать несчастную тварь.

– Оставьте, заберете? – спросил нас очкарик из приемной.

– Оставим, – сказал Артем, – им же нельзя в клетке... ну, такой маленькой... А скажите, они, что, стаями живут?

– Нет. Ведут преимущественно одиночный образ жизни, формируя пары только на период размножения. А почему вы спрашиваете?

– Ну... знаете... Там одна белка как бы хотела спасти другую... Кричала, теребила, не давала ей засыпать... Если бы она так не орала, мы бы, может, и не заметили...

– Молодой человек, я вам вот что скажу – в тюрьме всякое случиться может. Взаимовыручка представителей одного вида...

Майка тащила Артема из лужи, но у нее ничего не получалось – испачканная одежда выскальзывала из рук, да и вообще он был для нее слишком тяжелым.

– Что, не выходит каменный цветок? Ну-ка, дай я. Сбоку там подстрахуй. – Я рывком подняла Артема за шиворот, Майка подползла ему под руку, и мы повели его, как раненого бойца, вдвоем.

– Девчѐ-о-онки, я вас люблю, – не открывая глаз, сладким пьяным голосом нудил Артем.

Дома мы посадили его на бортик ванны, но он не удержался и свалился внутрь.

– Надо его раздеть, – сказала Майка.

– Обойдется. А, ботинки возьми. – Я стянула с него ботинки и подала ей. – Иди, Май. Я его сейчас воспитывать буду.

– Думаешь, поможет? – Майка опустила глаза.

– Нет. Но так – еще хуже.

Майка вышла. Я взяла душ, открыла холодную воду на полную мощность и стала поливать Артема.

– Ты что?!! Ты сдурела?!! – Артем закрывался руками, пытался отбиваться и через три минуты почти протрезвел.

Потом я кричала на него, хлестала по щекам. Знала – не поможет, конечно, не поможет, но надо было его хотя бы разозлить, не дать скатиться в это блаженненькое пьянство совсем.

Так прожили зиму. Я – злым следователем. Не извинялись друг перед другом ни за что – ни за грубость и хамство, ни за очередные пьянки. Все было понятно.

Майка пробовала справляться одна, но Артем совсем забуйнил. Когда она поднимала его, уговаривала, отталкивала:

– Уйди... ты... шрифтовичка... Что ты понимаешь?

– Вот что. Давай-ка я его заберу на пару недель, – сказала я Майке.

– Как собаку? – горько усмехнулась она.

– Май, сопьется.

Несколько недель я не спускала с Артема глаз, ходила за ним, как конвой, заставляла работать, не давала пить.

Мы страшно ругались, орали друг на друга. Я понимала, что он злится на себя, но решила – пусть лучше выплескивает злость скандалами, чем глушит водкой. А к весне у него пошло, он много писал, и все лучше и лучше, и чувствовал от этого видимое облегчение.

– Слушай, какой п...ц, какой п...ц, а? – Артем смотрел на мой портрет, который писал. Все стены в доме были завешаны моими портретами и его автопортретами – так он расписывался заново.

– По-моему, нормально.

– А? Нет, я не об этом. Оно же того не стоит, Гло... Эта мазня не стоит пьянства, и этой б...ской беспросветности, ни на секунду... Я думал, что подохну... Бабу свою обидел... А я ее люблю, ну, ты знаешь... Ради чего? Ради этого? – И он тыкал кисточкой в холст.

– Так все искусство проклятое, чего уж. Ти толко болшэ так нэ дэлай, да? Видишь –

прошло. Всегда проходит.

– А у тебя так было?

– Ну.

– А ты чего?

– Как все. Чуть не подохла.

Конечно, этим дело не кончилось. Артем, как всякий человек, выходящий из долгого алкогольного клинча, стал противным, капризным, все время придирался к Майке.

Вроде бы ничего особенного, но во всем, что он делал или говорил, была такая изуверская нотка, легкий флер садизма.

Я беспокоилась. Майка – маленькая решительная женщина – никак не годилась для этих темных игр. Она не была безответным ягненочком и никому бы не позволила сделать себя жертвой. Даже Артему.

Но помочь-то я все равно ничем не могла, как уж сами разберутся, каждый человек, как известно, сам п...ц своего счастья.

На меня навалилась куча дел – последний, преддипломный год, а допуск к диплому еще надо было получить, да еще у меня выходил первый спектакль (я как-то незаметно переползла из живописцев в театральные художники), и куча всяких халтур, и я все лето не поднимала головы.

Ребята пытались вытащить меня на юг, но я не смогла поехать, дела не пускали, и к началу осени чувствовала себя Элизой, все довязывающей рукав из крапивы даже на тележке палача.

Последние августовские дни оказались пустыми. Я не могла поверить – как? Всё? Все розовые кусты высажены, чечевица отделена от гороха? Не может быть!

Но на бал не хотелось. Я валялась целыми днями, как алюминиевая ложка, и если бы не Тарасик, вовсе бы не выходила из дома.

Артем вернулся с юга загорелый, исхудавший, как дворняга, бодрый, вошел (у него был ключ от моей квартиры), оценил разруху в доме и мой жалкий вид.

– А ну вставай!

– Привет, Артюша. А где Майка?

– А, они на Мангупе зависли... Все... Вставай давай!

– У тебя глаза бегают.

– Ничего у меня не бегают, – вконец обозлился он. – Вставай, или я сейчас сам тебя встану!

– Я не могу, Артюша. Если бы ты знал, как я зае...лась.

– Ты не зае...лась, ты довыё...валась! Сколько раз я тебе...

– О! Круто. Так и напишешь на могильном камне, под которым я буду лежатьдохлым трупом: «Она работала, выё...ваясь из сил».

– Ну всё! – Артюша подхватил меня, отволок в ванную, открыл воду. – Мойся давай! Пойдем гулять! Понятно?

Я послушно полезла под душ.

Когда вышла, застучала Артюшу планомерно забрасывающим в большой мусорный мешок огрызки деревяшек, обрезки картона, исчерканные листы, жестянки-пепельницы, пустые бутылочки из-под клея.

– Между прочим, там есть нужные эскизы...

– Да что ты? Ах я вандал! – сказал Артюша, не останавливаясь. – Одевайся. Надо тебя под солнце вывести. Бледная как глист.

– Это потому, что я в жопе. – Я потащила джинсы из кучи шмоток.

– Ну куда? Платице надень какое-нибудь, девочкой нарядись! Это как терапия, понимать надо!

Но на девочку у меня точно не было сил. Я натянула джинсы, майку, влезла в сандалики, пристегнула Тарасику ошейник, и мы пошли пешком в центр.

С непривычки шарахаясь от прохожих, я пялилась на солнце, как пещерный житель, и все норовила присесть и закурить.

Артюша отнимал у меня сигареты и тащил дальше, как буксир баржу.

В сумерках мы дошли до городского парка и поломились куда-то прямо через кусты.

– Ты меня завел в лес и бросишь? – спросила я.

– Толковый план, – ответил Артем, и тут мы вышли на центральную парковую площадку с подсвеченными фонтанами, оркестриком, белыми железными столиками и стуликами в завитушках.

Звучала музыка, гуляла публика – нарядная, праздная, сновали официанты в дешевых белых смокингах и вульгарных бабочках винного цвета.

– Какие все чистенькие и красивые, – сказала я и улыбнулась. В последние месяцы я видела только стены мастерских, усталых людей в замызганных спецовках, километры ткани, станки-станки-станки...

Мы сели за столик у самого фонтана, и Артем попытался подозвать официанта. Но видимо, мы не внушали официантам никаких меркантильных надежд, и они акулами проплывали мимо.

– Ну, я девушка не гордая, – сказал Артем и встал, чтобы сделать заказ у стойки.

– Вермута мне возьми, пожалуйста. И апельсиновый сок.

Артем вернулся с официантом, несущим поднос, уставленный тарелочками, дамскими коктейлями в сливочной пене и вазочками с мороженым.

– Это кому все? – ужаснулась я.

– Тебе надо поесть. И кофе еще принесите, пожалуйста. И большую чашку какао.

– Мы не подаем какао...

– Тогда кофе с молоком и шоколадом. Это же нетрудно сделать?

Официант любезно кивнул, улыбнулся и отошел.

– Что ты с ним сделал? Поцеловал?

– Сама подумай, большая уже. Да они нормальные на самом деле, просто замотанные.

Ты ешь.

Я ела, не чувствуя вкуса, не могла проглотить кусок и выглядела, должно быть, как гусыня, подавившаяся презервативом.

Тарасик под столом доел свою порцию мороженого и теперь, фыркая, вытирал усы об мои джинсы.

– Так нельзя, – воспитывал меня Артем, – Гло, посмотри на себя, ты похожа на...

– Гусыню. Я знаю.

– Люди учатся и работают, ладно. Уже не мед. Тяжело. Но ты же еще в этот театр вписалась, куда тебе столько? Ты же сдохнешь, оно того не стоит...

– А что стоит?

– Я не знаю, – сказал Артем, помолчав.

– Артюша, да не огорчайся, это у меня наследственное, батя картежником был...

– Ну и что? При чем здесь карты? Типа, надо выиграть, или что, я не пойму?

– Нет. Не знаю, как объяснить... Азартному человеку трудно отказаться от удачного расклада, понимаешь? Какие-то события, возможности, предложения складываются определенным образом в рисунок судьбы, если подыграть, не упустить, и это большой соблазн, понимаешь, закрутить вокруг себя реальность змеиными блестящими кольцами...

– Смотри, как бы она тебя не придушила... реальность эта. Змеиными кольцами. Ты просто не умеешь вовремя остановиться. Или отказаться от двадцать первого апельсина.

– ???

– Как жонглер. Ну, знаешь, в цирке есть такой номер – выходит такой кекс в блестках и начинает жонглировать тремя апельсинами, а помощник, такой, ему все подбрасывает и подбрасывает по одному, и вот уже кекс жонглирует двадцатью апельсинами. Но будет же какой-нибудь двадцать первый, на котором он спалится, и все эти оранжевые штуки обвалятся ему на голову... Врубись.

– Тоже да. И что теперь? Я тебя цитатой сейчас добыю: «...не случайно в одной из средневековых притч рассказывается о жонглере, который не умел иначе славить Богородицу, как только показывать фокусы пред ее образом...»

– Ладно, добила. Только поезжай куда-нибудь, отдохни хоть неделю, а то нечем будет показывать фокусы. От тебя уже и так одни уши остались...

Но я никуда не поехала. Мне было жаль городского сентября – ясного неба, багряных листьев, горького дыма.

В училище было почти пусто – вовремя приступали к учебе только первокурсники, салаги, все остальные тянули, подворовывая неделю-две у практики, которая тянулась до середины октября. Делать наброски и писать этюды можно где угодно, не обязательно чахнуть в стенах родного учебного заведения.

Те, кто приехал, с утра до вечера торчали в зоопарке, наших студентов туда пускали бесплатно, а зоопарк был почти хорошим – до холодов копытные разгуливали по огороженным лужайкам, у карликовых кенгуру была громадная резервация, засаженная густыми кустами (и поэтому посетители зоопарка редко встречали карликовых кенгуру – те ныкались по густым кустам до ночи), тропическим птицам тоже отгрохали просторный вольер, и только бурый медведь маялся в тесном бетонном карцере, но к будущему лету и ему обещали улучшить условия заключения.

Артем остался в училище дописывать какое-то монументальное полотно, а мы – Майка, я, Тарасик и два парня с Артюшиного курса, Кирилл и Солнцев, – рисовали зубров.

Тарасик конечно же зубров не рисовал. Тарасик таскал у нас из-под рук ванночки с медовой питерской акварелью и пожирал ее.

Солнцев, высокий, нескладный, похожий на карточного джокера – вытянутый подбородок, узкие губы, ехидный взгляд, – изводил пса нотациями:

– Тарас! Тарасик! Что же ты тянешь в рот всякую мерзость?! Ты же ученая собака, тебя даже в зоопарк пускают...

– Мало ли кого в зоопарк пускают, – пожалала я плечами. – Тарасик, фу!

Тарасик принял невинный вид, но синий от ультрамарина язык не оставлял никаких сомнений в преступной деятельности собаки.

– Ах ты гаденыш! Тарас, ступай в сумку и сиди там, пока не позову.

Тарасик, повесив нос и поджав хвост, поплелся к большой брезентовой котомке, в которой я носила всякие художнические приспособы, заполз в нее и печально затих.

– Нет, это не собака! Это бес! Бес!

– Что ты к нему прицепился, Солнцев? Отстань, он и так из-за тебя попал... в сумку, – проворчал Кирилл.

– Скажи мне, мой король, много ли ты видел собак, которым можно сказать: «Пойди в спальню, там, слева от кровати, стоит тумбочка, а на ней лежат книги, так вот, принеси ту, в синей обложке»? И чтоб собака принесла?

– Ну, ты преувеличиваешь, – улыбнулся Кирилл.

Солнцев дразнил его королем Артуром за броскую кельтскую красоту – он был высоким, широкоплечим, с темными, вьющимися волосами, ярко-синими глазами и кожей, белой и нежной, как у девушки. К тому же Кирилл обладал редким даром рисовальщика, да и писал изрядно – он был одним из самых сильных на курсе.

При этом по характеру Кирюша походил, скорее, на мелкого бухгалтера из заштатного немецкого городишки, чем на художника и красавца, – тихий паинька, скромный, даже чопорный, словно мозги всей этой роскоши пересадили от другого человека. Когда наши бойкие девицы без стеснения вешались ему на шею, он возмущенно отчитывал их: «Ты что, разве можно так себя вести?»

Он был совершенно хрестоматийным хорошим человеком, просто живой пример – искренний, внимательный, всегда готовый помочь. Он всегда «вел себя прилично», а в нашей среде именно это выглядело наидичайшей эксцентричностью.

– Ничего подобного! Смотри. Тарасик, позови Кирилла!

Тарасик, покосившись на Кирилла, молча, с брезгливой доброжелательностью, смотрел на Солнцева из сумки.

– Ты видишь?

– Ничего я не вижу. Он тебя не послушался!

– Вот именно! Смотрит на меня как на дурака – мол, ты чё, вот же Кирилл, сам и позови! Понимаешь? Он рассусоливает! Другие собаки не рассусоливают, а выполняют команды! А этот рассусоливает! Если бы ты ушел вон хоть за то дерево, ручаюсь, он бы пошел тебя позвать! Истинно говорю тебе, мой король, это бес, а не собака! Нечистая сила!

– Еще какая нечистая. – Майка, смеясь, поднялась чтобы размять ноги. – Весь в краске и в грязи. Мы с Гло оглянуться не успели, как он улегся в болото, там, у фонтанчика. Жарко было...

Майка подошла к Кириллу, заглянула через плечо посмотреть, что он там рисует. Кирилл закрыл рисунок. Майка, навалившись на него, попыталась отобрать лист.

Кирилл, подхватив Майку, повисшую у него на спине, под ноги, вскочил и с гиканьем помчался по газону.

Меня как ударили, я не знала, плакать или смеяться, – если бы я была сплетницей, то этой новости цены бы не было.

Кто бы мог подумать, что из них двоих – Майки и Артема – именно Майка изменит первой? Майка, честная до придури, серьезная и ответственная? Да еще с кем? С нашей главной девственницей – Кириллом!

То, что она спала с Кириллом, было ясно как день. И похоже, продолжалось уже давно.

И если бы я раньше разула глаза... Стоп. И что было бы? А ничего. Это абсолютно не мое дело, черт возьми.

Кирилл привез Майку назад и поставил на землю. Он улыбался как младенец.

Майка же, перехватив мой взгляд, задумчиво перевернула носком башмачка банку с водой.

– Кажется, я разлила твою воду, Кирюша...

– Ничего, все равно надо было поменять, – бодро отозвался Кирилл. – И всем пора уже. Солнцев, поднимайся, бери банки у девчонок, пошли.

За водой надо было ходить довольно далеко – к питьевому фонтанчику.

Чуткий Солнцев подозрительно взглянул на нас, но у него не было повода остаться, и, подхватив банки, он пошел за Кириллом.

– Ты меня осуждаешь? – спросила Майка, присаживаясь рядом.

– Я?! С ума сошла? С какой стати?

– Я ухожу от Артема. Мы давно собирались ему сказать... Кирилл... он не может врать, совсем...

– Понятно. – Я вздохнула. – Только, Майечка... извини, конечно... но мне кажется, ты его любишь... Артема... Что бы там ни было...

– Ты его не знаешь, совсем не знаешь... Он стал такой... после той зимы... Ты не знаешь, – быстро заговорила Майка, глядя в землю.

– Знаю. То есть знаю, что не знаю, – успокаивающе сказала я.

– А... нет, это все равно, какой он... Все равно... Какой уж есть... Но я... я становлюсь с ним как животное... Зверею... Просто озверевшая самка... А я так не хочу, я – человек... Меня как затягивает куда-то в яму, мне страшно, а он только смеется. Ты не знаешь, он таким бывает... безжалостным... Но это все равно, дело не в нем, дело во мне. Кирилл мне будет хорошим мужем. Мы поженимся. И я буду ему хорошей женой, я знаю. Мы друг другу подходим. И я беременна. От Кирилла. Второй месяц. Я хочу этого ребенка. И он будет. С нормальным папой, а не с... Я люблю его, Кирилла... Просто по-другому. Ты что же, думаешь, что можно любить только одного мужчину?

– Тихо, успокойся. Тебе вредно волноваться. – Я обняла ее за плечи, прижала к себе. – Тихо, не плачь. Они сейчас вернутся, и Солнцев во все будет совать свой длинный нос.

Разумеется, я так не думаю. Один человек как-то раз говорил об этом... То есть спасибо, мне уже сообщили. К счастью, не было повода проверить на себе...

– Ты не скажешь Артему?

– Конечно нет. Только ты сама можешь.

Майка с Кириллом поженились через два месяца.

Артем был у них на свадьбе, и вообще он вел себя, словно был Майке старшим братом, а не бывшим возлюбленным – шутил, смеялся, поздравлял их.

Все пошло по-прежнему, как было, пока Артем не привез Майку в Харьков.

«Путешествие ничего не изменило, все осталось здесь», ага.

Артем часто бывал у них, а когда Майке пришло время родить, они с Кириллом хором стучали зубами – врачи пугали трудными родами, у Майки, мол, детское телосложение и узкий таз.

Но все обошлось благополучно, Майка легко родила здоровую девочку, и Артем нежно склонялся над малышкой, так нежно, словно сам был ее отцом.

– Смотри, волосатая, как кокос! – радостно говорил он мне. – Я думал, все младенцы лысые и сморщенные! А эта миленькая! Аничка! Анюшечка! Сюсюшечка!

Река их любви ничуть не обмелела, она была, как прежде, явной, почти осязаемой, и я думала: будь я на месте Кирилла, смогла бы я жить с человеком, который любит другого?

Ах да. Однажды я уже не смогла. Почему, интересно? Какая разница, кого любят еще, если и тебя – тоже – любят?

Майка не ошиблась, она была хорошей женой Кириллу, а он – хорошим мужем.

И я думала: интересно, а почему Артем не смог?

Что мы за люди такие? Ведь вот Кирилл не уступает Артему мерой таланта, но он не носит с этим проклятым искусством как дурень с яйцами, для него это работа, просто работа. Служил бы он бухгалтером или прорабом, или учителем – было бы то же самое. Работа. Дом. Жена. Ребенок. Всему хватает места в жизни, а наши скоморошья пляски на раскаленной сковородке – всего лишь свойство характера, а никак не следствие образа художника.

Собственно, это не было открытием, а лишь подтверждало давние наблюдения.

Сколько я их видела таких? Наездников, картежников, музыкантов? Да что там. И повар может быть безумцем, почему нет?

Я защитила диплом и поехала дальше, дальше – дальше учиться, дальше от дома.

– Ну куда тебя опять несет? – увещевал меня Артем. – Тут у тебя все есть – друзья, работа, а ты опять как в холодную воду!

Но я поехала, мне хотелось – снова пожить в чужом городе, не гостем, а долго.

Мы виделись – реже, конечно, – в Крыму, или когда у меня начиналось осеннее обострение и я не могла усидеть на месте, ездила по разным городам, знакомым и незнакомым, заезжала и к Майке с Артемом (так я и думала – «к Майке с Артемом», хотя ведь теперь были и Ася, и Кирилл, да и Артем не сидел один, около него вечно роились какие-то девы, и появилась Зина, Зина-корзина, вечная страдальца) посмотреть, по правде, не столько на них, сколько на себя. На них тоже, но и на себя.

Я старалась себе не врать, никогда, но что подделаешь? Свои заблуждения, чужие иллюзии, в которые и сам начинаешь верить, желание «сохранить лицо», и это лицо становится маской, всегда только маской – все это было и только с Артемом уходило, как талая вода.

Странное дело, мы поддерживали друг друга всегда и во всем, могли просить о любой помощи, но просили (редко, очень редко) только об одном – «побудь со мной».

Артем позвонил мне как-то (а телефонными разговорами мы друг друга не баловали) – сколько? – три зимы спустя, наверное. Спрашивал, как дела, нес что-то невразумительное и на середине фразы вдруг распрошался.

Я поразмыслила денек, нашла себе дело в Харькове, отправила Артюше телеграмму и поехала.

Я так надеялась передохнуть от выматывающего душу волглого холода своих торфяных болот, но в городе бушевал злой зимний ветер, с метелью, с морозом – февраль был здесь лютым.

Я запихнула Тарасика за пазуху, а сама, как промерзший волчишко, вихляющей трусцой, мысленно поджимая то одну, то другую лапу, побежала в местный театр – иметь деловой разговор.

Но разговор затянулся. Все, с кем я работала когда-то, хотели меня видеть, все хотели поболтать, в результате я пропустила последнюю электричку, идущую от вокзала в новый городской район, где жил Артюша.

С год назад Артем и Майка с Кириллом и еще несколько человек из наших купили квартиры в новостройке, и теперь новый дом был просто набит художниками.

Место было очень удобным – пять минут от центра на электричке. Или полчаса пешком.

Но зима.

И я, сквозь метель, по шпалам, как Павка Корчагин, с собакой за пазухой и с рюкзаком в заледеневшей лапке...

Когда Артюша открыл дверь, я свалилась ему на руки мерзлой тушкой полярника.

Он потащил меня в комнату, усадил, стал расстегивать дубленку, оттуда вывалился Тарасик, бурно выражающий радость от встречи.

– Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя, и облизываяй, и прыгай! – сказал Артем. – Привет, чудище!

– П-привет, п-принцесса! – простучала я зубами.

Мы обнялись.

– Сиди тут! Я сейчас...

Артем куда-то убежал, а я огляделась.

Комната была почти пустой – кровать в углу, лампа, мольберт, какие-то ящики, на ящиках сидят три девицы.

Одна совершенной, немислимой красоты – большие черные глаза, тонкие черты лица, кожа невообразимого абрикосового оттенка, щедрая коса-до-пояса цвета темной меди, хрупкие руки, полная грудь.

Вторая – Зина, Зина-корзина, с одухотворенно-страдальческим лицом христианской святой, на минуточку присевшей на горячую сковородку.

Третья – с ярким, детским румянцем во всю щеку и нахально-затравленным взглядом серых глаз, ребенок лет семнадцати.

Совсем ох. л старый муфлон, подумала я.

Старый муфлон был легок на помине.

– Чаю или водки? – Он встал передо мной, в одной руке – початая бутылка водки, в другой – чашка дымящегося чаю.

Я взяла чашку, Артюша опустил на колени, снял с меня сапоги, ворча:

– Совсем ох. ла! Еще и на кабла! Как ты дошла вообще?! – Отнес сапоги в прихожую, надел на меня огромные шерстяные носки, отнял пустую чашку, поставил на пол, поднял меня, вытащил наконец из верхней одежды, отвел в кровать и закутал в ватное одеяло.

– Ты что, меня же сейчас очередь порвет, – негромко сказала я, стрельнув глазами на девушек. – Постель шейха – это святое...

– Ну, я вижу, ты отогрелась... змея, – фыркнул Артюша, но тут в дверь позвонили.

Тарасик залаял, побежал в прихожую, Артем пошел за ним.

Шутки шутками, но девушки смотрели на меня с такой неприязнью, что я решила поберечь свою карму и вылезла из постели.

– Здравствуйте, бабочки, – сказала я. – Знакомиться будем?

– Привет, Глория. Как хорошо, что ты приехала, – неубедительно сказала Зина. – А мне Тёмушка рассказывал, что ты замуж вышла... Я так удивилась, так удивилась... Неужели правда?

– Ну... правда. А чего особенного? Вышла и вышла – с кем не бывает?

– Ой, ну, Глория, тебе же это совершенно не подходит! У тебя такой характер... такой резкий стиль... Я и подумать не могла, что кто-нибудь... что ты когда-нибудь выйдешь замуж!

– Зин, что ты-то знаешь о замужестве, м-м?

У Зины моментально задрожали губы.

Та-ак... началось, подумала я, но тут, к счастью, прибежал Тарасик, залаял, давая знать, что меня кто-то там зовет.

Я пошла за ним.

В прихожей было почти темно, только свет из кухни рассеивал полумрак.

Майка забилась в угол, у самой двери, ее трясло, глаза блестели, как у мышонка, который собирается задорого продать свою жизнь.

Артем, невысокий и не сказать чтобы громоздкий мужчина, нависал над ней злой глыбой и пытался ухватить за запястье.

– Брек! – сказала я, вклиниваясь между ними и отталкивая Артема. – Что у вас тут опять? Рецидив? Артем, отойди, ты ее пугаешь!

Майка вцепилась мне в локоть. Артем отступил на шаг, усмехнулся:

– Ты, Гло, со своими собаками сама стала как собака...

Тарасик, рыча, вцепился Артему в брючину.

– Пнешь собаку – убью, – сказала я. – Тарас, фу, сядь.

Тарасик отпустил Артема, тот резко повернулся и ушел.

Майка сползла по стене, я села рядом:

– Ты зачем пришла?

– Я... тебя хотела видеть... Мне Артем сказал, что ты сегодня приезжаешь...

– У вас опять вся эта фигня началась?

– Нет... нет. – Майка уткнулась мне носом в плечо. – Ничего не началось. Он хочет, чтобы... Но я не хочу. Не хочу...

– Ну и все. И успокойся. Никто не может заставить тебя делать то, что ты не хочешь...

– Может. Он – может... Ты его не знаешь...

– Не может, Майка. Никто не может. Хочешь Артема – твое дело. Ничье больше. Ни этих, – я кивнула на комнату, – ни Кирилла. Ни Артема даже. Хочешь Кирилла – оставайся с Кириллом. Только не обманывай его, пожалуйста. Не тот он человек, чтобы спокойно пережить обман...

– Нет! Я и не обманываю! Все было хорошо и у нас, и у Артема, а теперь его опять заклинило, он меня... Не могу я с ним. Хорошо, что ты приехала...

– Меня Артем позвал. Он тебя любит, Майка, и всегда будет защищать. Даже от себя...

Майка вздохнула, просунула мне руку под локоть, и мы немножко посидели на полу, в полутьме, молча.

Майка зашевелилась, я встала, помогла и ей подняться.

– Ты зайдешь к нам? На Аську посмотришь, она такая большая уже...

– Постараюсь. То есть я хотела, но теперь как пойдет, ладно?

– Ладно...

Майка ушла, я закрыла за ней дверь и вернулась в комнату.

Артем, сгорбившись, сидел за мольбертом на высоком табурете, подобрал ноги на перекладину, и тщательно выписывал блики на бутылках.

Девушки сидели там же, где я их оставила, и, словно стервятники, неотрывно глядели на Артема.

Я вздохнула и пошла на них как на кур, слегка растопырив руки:

– Девушки, а не пора ли и по домам?



Немає  
Лиш мене в тім краю, в тім раю.  
Моя дивна постать – фігура блудить степом.  
Хай не зрадіє останнє  
світання  
Моїм рисам, моїм речовинам —  
клітинам.  
Задля тебе, кохана,  
Я позбудусь навічно фізичного тіла,  
ай, мила.  
Я займуся вогнем —  
міжзоряним дощем,  
ненаглядна моя...

– Smyчок опущен, и мелодия допета. Ну все, с Олегом Юрьевичем мне не тягаться, – сдалась я. – Может, теперь покормишь все-таки? И какого дьявола здесь так холодно?

– Так дом только недавно сдали. И как-то криво... Перебои с отоплением...

– Перебои с отоплением?! В феврале?!!

– Ну, в июне никто и не заметил бы. Обидно было бы, да? Пойдем на кухню.

На кухне стояли электрическая плита, раскладушка и стол. Впрочем, в холодильнике при таких делах и не было нужды.

Артюша принес мне одеяло, и мы с Тарасиком, завернувшись в него, как индейцы, сидели на раскладушке, пока Артем готовил ужин.

– Оставь ее в покое, – сказала я. – Только зря мучаешь...

– Я ее не мучаю. Я ее люблю. И хочу, чтобы она ко мне вернулась. А не мучаю.

– Доброе утро, дорогие радиослушатели. Твой Василь Платонович, царство ему небесное, сказал бы – хтось пізно всрався. Она к тебе не вернется.

– Откуда ты знаешь? Ну откуда?

– Оттуда. Одна попытка уже была, так? И отстань от нее, и хватит. Эти маленькие женщины... Я их просто боюсь. У меня есть еще две штуки. Такие же. В друзьях. Каменные бабы. Железные леди. Они же усилием воли жизнь свою в любой узел завязать могут, как кочергу. Хрен развяжешь. И не лезь к ней. Как она себе решила, так и будет, поверь мне. Только мучаешь, и все.

На этом официальная часть была закончена.

Следующие дни мы проводили однообразно, как монахи, – утром я ехала в театр, днем возвращалась, привозила еду, сигареты и бутылку красного вина.

В доме был ледяной ад, так что, приготовив ужин и сварив глинтвейна, мы с Артюшей забивались в теплую нору из трех ватных одеял и молча читали, изредка вслух зачитывая друг другу фразы из книг.

Тарасик спал в глубине одеяльной норы, похрюкивая и пуская ветры.

– Земную жизнь пробздя до половины... – задумчиво говорил Артем при какой-нибудь особенно выдающейся газовой атаке. – Да что он ест?

– Говядину с гречневой кашей. Конечно, я могу заклеить ему задницу скотчем... Или древесной смолой. Так медведи делают, когда в спячке.

– Не верю. Если бы они так делали, то к концу зимы весь лес взорвался бы... Вот, слушай: «Итак, моя жизнь представляет собой замкнутую цепь ошибок, бесконечно повторяющихся во времени...»

– Ладно. Лови топор: «На рассвете бухта являла собой картину полного покоя. Сквозь золотистый туман Флорентино Ариса разглядел позолоченный первыми лучами купол собора, голубятни на плоских крышах домов и, ориентируясь по ним, определил балкон дворца маркиза Касальдуэро, где, по его расчетам, она, предмет его неразделенной любви,

все еще спала на плече насытившегося супруга...»<sup>2</sup>

– Ты нарочно?

– Мамой клянусь – нет. Вот попалось...

– А у тебя-то как дела? Прости, я и не спросил чего-то...

– Как сажа бела. Развожусь.

– А поехали в Крым?

– В Крым?! В феврале?!!

– Ну да. А что? Михаил давно звал в гости.

– Он же ненавидит гостей. Я вот этими самыми бесстыжими глазами один раз видела, как он удирал по горе, увидев хипповскую стайку, направляющуюся к его дому.

– Так это он летом ненавидит. Они же... То есть мы. Все мы – они для кого-нибудь, да?

Они такие придурки. Они такие мерзавцы. Они то, они это...

– Э, вертайся взад, начальник. Так что Михаил?

– Летом его все достают. А зимой он один сидит – скучно. Симеиз – город маленький, не с кем и трубочку толком раскурить...

– А и поехали, чё. У тебя этюдника лишнего есть?

– Да у меня этих этюдников просто завались...

Зимний Крым очаровал меня.

Пустая Ялта. Море, капризным, ворчливым стариком швыряющее волны в песок. Рыдающие в свинцовом небе чайки. Тепло и пасмурно, легкий снег кружится в воздухе – безопасный, бутафорский, словно декорация к романтической комедии.

Зимой в Крым следует ездить вдвоем с каким-нибудь влюбленным в тебя пингином, хихикать, целоваться, ходить за ручку, пить брют из бутылки на ветреном берегу и заниматься любовью с ранних сумерек до полудня.

В старом, скрипучем троллейбусе, везущем нас в Симеиз, набралось бы и пяти человек.

Тарасик спал у меня на коленях, а мы с Артюшей, обнявшись, смотрели в окно – пейзаж был знакомым, но казалось, что какой-то злодей приглушил цвет.

– Вот тебе и серебристая гамма, – сказала я.

Михаил, дядька, похожий на загорелого, исхудавшего Льва Толстого, костистый и бородатый, встретил нас на остановке:

– Ребя-а-атушки! Ребя-а-атки! Какие же вы молодцы, что приехали! – приговаривал он, обнимая нас истоиво, до хруста.

– Ты давно здесь сидишь? Как телеграмму получил, что ли? – насмешливо спросил Артем.

– А чего мне здесь не сидеть? Место не хуже всякого другого... Ну пошли, пошли... Собачка! Собачка! Как зовут?

– Тарасик.

– Ух ты! Тарас, а ну иди сюда! Пошли домой, пошли! – Михаил отобрал у нас рюкзаки и пошел к дому – башенке на окраине города. – Только вот в магазинах нет ни хрена, кроме бухла... Я вам плова вчера наготовил, так он к сегодняшнему настоялся как раз – красота... А завтра в Ялту съездим...

– Мы тебе всяких консервов привезли, крупы, всего, – сказал Артем.

– А! А я-то думаю, чего тут? Кирпичи? В рюкзаке? Спасибо, ребятки... Только что ж я буду вас консервами морить... Съездим завтра на рынок, рыбки купим, мяска... Я-то сам не ем... А еще эти суки опять отопление вырубил, батареи не греют ни хрена, так я психанул, открутил свою к свиньям собачьим и выкинул. Буржуйка у меня, больша-а-ая, Марусей назвал. Дровишки можжевеловые – красота...

---

<sup>2</sup> Маркес Г.Г. Любовь во время чумы. Пер. Л. Синянской.

Мы вслед за Михаилом поднялись по узкой лестнице и вошли в большую, почти пустую комнату (все мы это любили, да, мебели поменьше – места побольше), отделанную по стенам бамбуком.

В комнате были просторная двухъярусная кровать, огромная железная бочка с ножками и жестяной трубой, уползавшей в форточку. На бочке мелом было старательно выведено «Маруся», рядом пара истертых кресел, и тут же, за ширмочкой, – кухня.

– Устраивайтесь, ребята. Сейчас водички погрею, чайку попьем, покупаетесь с дорожки – горячей воды нету ни хрена, так я ванну цинковую в Севе купил – красота...

Михаил сноровисто развел в печурке огонь, и не прошло и получаса, как мы с Артюшей валялись в креслах, попивали чай с коньяком и разглядывали детские рисунки, висящие над кроватью.

Тарасик лежал у самой печки, как маленький лев, и дремал в тепле.

Михаил жил здесь городским отшельником – летом уходил в горы, зимой резал фигурки из дерева, а если удавалось найти подходящий ствол, то и большие скульптуры, вел студию рисования для местных детишек – совершенно бесплатно. «Да кто платить будет? Эта алкашня? Пусть хоть дети делом занимаются, мне только в радость», – говорил он. Чинил всем и всё – от крыш до будильников, помогал бабулькам, возил продукты.

Тем вечером он кормил нас пловом, рассказывал о своих студийцах – о каждом подробно, с демонстрацией рисунков, советовал, куда нам лучше пойти писать этюды.

Мы слушали его, нахохлившись в сытом полусне.

В доме пахло можжевельником и коньяком, от живого огня было уютно и бестревожно.

Мы провели в Крыму тогда – сколько? – дней десять?

Катались в пустых троллейбусах в Ялту и ботанический сад. Писали черный бамбук в снегу, писали этюды в городе – каждый день виллу «Ксения» в разном освещении.

Тарасик пытался расшевелить местных голубей, но они перепрыгивали через него, едва шевеля крыльями, и тут же плюхались на землю, ленивые, толстые, бродили вокруг нас толпами, с умильным воркованием, выпрашивая подачки, и пес вынужден был их просто расталкивать, чтобы подойти ко мне.

Было тепло, мы носили свитера и шарфы, если мерзли – согревались коньяком, иногда брали этюдники и убредали далеко-далеко, по дороге над морем, якобы в поисках подходящего пейзажа, но на самом деле просто чтобы идти.

– Хорошо живем, правда? Вот бы так всегда, – говорил Артем. – Хорошо и мирно. Почему так нельзя с тем, кого любишь?

– Можно. Просто мы не умеем.

– Я умею.

– Ага. С Майкой – особенно.

– С Майкой... С Майкой мы еб...сь все время как кроли. Нет, не в смысле какая-нибудь сраная страсть, а нормальная биологическая совместимость. Страсть – она так, до послезавтра, а совместимость – она навсегда. От этого знаешь как крышу рвет? Как будто несешься на волне, а все вокруг мелькает, мелькает... Время просто улетает. И себя не помнишь – можешь любую х.ню сделать, кажется, что все – нормально и все – хорошо. Все важно, и все не важно, то есть если это биологическая совместимость, то она во всем, понимаешь? Человек тебе подходит во всем, и даже не важно, трахаешься ты с ним или нет... Из рук выпустить трудно, правда... И все равно, что он говорит, – просто слушаешь голос. И все равно, что он делает, – просто смотришь на него... Смотришь, и тебе хорошо, тепло так... Бред, в общем, полный... Ты на него смотришь, и такое чувство – вот я и дома, понимаешь? А потом с другими ничего и не выходит. Все вроде и ничего так, но все время домой хочется... Ты понимаешь?

– Не-а. Просто запоминаю.

– Ну понятно. Ты-то любовью серьезно никогда не занималась...

– Чего-о-о?

– Ну... Я имею в виду – любовью. Как другие телки. Чтобы заморачиваться –

упромыслить себе мужика, ходить за ним потом, охранять от всех, чтоб он не трахнул там кого ненароком... Ты сама как мужик – у тебя всегда есть какие-то свои дела, в которые никому нет ходу...

– Слушай, ну нельзя, чтобы не было у человека никаких других дел, кроме любви. Или кроме работы. Надо – все, а иначе это убожество, односторонность, инвалидность и оловянность. Нельзя быть одноногим и оловянным солдатиком, врубись.

– Ага, и стальной одноногой балериной. Опять же пашешь с утра до ночи, а мужа – вон.

– Минуточку. С мужем другая байда вышла на этот раз.

– Какая же это?

– Так детей не хочет. А я зачем замуж тогда шла? Я что, не найду с кем потрахаться без штампа в паспорте?

– А чего не хочет?

– А говорит, прикинь: «Я хочу, чтобы ты любила меня и заботилась обо мне, а дети будут тебя отвлекать от заботы обо мне, любимом...»

– А ты чего?

– А я говорю: «Милый. Я готова стирать твои носки, кормить тебя плюшками, мыть полы и выполнять другие супружеские обязанности, в том числе родить тебе пару крепких карапузов, любить их и заботиться о них. Но. Усыновлять чужого затридцатилетнего ребенка и быть ему родной матерью – это извини. Я увольняюсь. До свиданья, счастья в личной жизни».

– Слушай. Прости. Но у тебя же были проблемы... с этим... с детьми. После травмы. Прости...

– Ну были. Не было бы, так я давно уже с тройней бы ходила, как цыганка... Так он же и пробовать не хочет! Следит как сокол, чтобы я случаем не залетела. Вот бесит меня это.

– Да... Это я врубаюсь... Я бы тоже детей хотел... Аська – она такая прикольная! Я боялся поначалу, что будет раздражать – визг там, писк, то-сё, пеленки... А ни фиги не раздражает... Так прикольно! Масенькая такая... Майка, как в инстик поступила, оставляла ее мне... И на целый день! Ничего, прикольно очень... Слушай, темнеет уже, по ходу, с этюдами мы стормозили, пора возвращаться. А давай в «Ксению» зайдем, по коньячку накатим?

– А давай.

В баре «Ксения» было пусто, как и во всем городе.

Барменша, увядший цветок с тусклыми волосами, в домашних тапочках и вечно рваных чулках, была к нам по-матерински добра и снисходительна – носила к столику коньяк и лежалые шоколадные конфеты, ставила записи Моррисона, хотя он наводил на нее тоску, и позволяла Тарасику сидеть за столом и есть мороженое из вазочки.

Мы уютно напивались, сын адмирала негромко убеждал нас, что это – конец; Артюша, не отвлекаясь ни от выпивки, ни от разговора, быстро рисовал графические открытки на маленьких листках цветной бумаги – бегущие люди, летящие листья, следы на песке, – туда же вписывал короткие стихи и дарил барменше каждый раз, когда она приносила нам коньяк и кофе.

И каждый раз она трогательно смущалась: «Ой! Мне?!» – уносила листок и вешала над стойкой. Их собралось там уже штук тридцать, смешных, всяких. Сверху висела ее любимая, с мотоциклистом – *Ездок беспечный пересел на форд; подушки безопасности комфорт*, чуть ниже лирическая композиция – *ковырнула ножиком мне сердце, улыбнулась и уходишь в дверцу, в пол лежу, уткнувшись мордой, оказалось – не такой и гордый*.

Барменша смахивала слезу:

– Какой талант! Тебе бы, Артюша, песни писать!

– Ага, народные, – улыбался он и, закончив очередной шедевр, читал мне вслух:

мои друзья и подруги

превратились вдруг как-то сразу  
(так мне показалось)  
в голоса телефонных трубок  
ключья сказанных фраз  
строчки слов на экране

Как? Хорошо, Гло?

– Пре-крас-но!

– А куда все делись, правда? Вот мы с тобой сидим выпиваем и закусываем, но это же раз в сто лет бывает... Не с кем и в Крым съездить...

– Так мы с тобой уже старые выдры, Артем. Поди, под тридцатник... Люди в этом возрасте уже заводят себе своих собственных людей для этих дел, а с чужими не шлятся...

– Ты опять про детей, что ли?

– Детей. Жен. Мужей. Кого поймают, того и заводят. Как ты говорил? Упромысливают и потом от всех охраняют. Чтобы было с кем в Крым ездить...

– А любовь?

– Ну не всем же везет. Можно и так договориться. Люди боятся одиночества. С детства и навеки.

– Какая фигня! Слушай, а где Тарасик?

– Не знаю. Может, под столом уснул?

Мы полезли под стол, и тут выяснилось, что коньяк был пит не зря – и меня, и Артема заносило, мы теряли равновесие и стукались лбами.

Нас это не остановило – мы обползали весь бар на четвереньках, заглядывая под каждый стол, призывая Тарасика, к нам подключилась барменша, но собака как в воду канула.

– Может, он убежал? – спросила барменша.

– Кто? Тарасик? Быть не может, он не из таких, – заплетающимся языком ответил Артюша.

– Все же пойду посмотрю на улице. – Я, покачиваясь, пошла к выходу, распахнула дверь.

На крыльце изваянием застыл Тарасик – стеклянный взгляд, заиндивевшие усишки – видимо, он сидел тут уже давно.

– Кутечка моя! Что же ты здесь сидишь? – Я подхватила собаку на руки, и в нос мне ударил густой коньячный дух.

Проведя короткое расследование беспрецедентного случая с собачьим пьянством, мы выяснили, что кто-то из нас случайно плеснул Тарасику в вазочку с мороженым коньяку. Пес, не будь дурак, выпил, но с непривычки его замутило. Будучи настоящим гусаром, он счел ниже своего достоинства пачкать в баре, вышел наружу, заблевал всю лестницу, но с пьяных глаз не смог открыть дверь и вернуться обратно. Почему не отозвался голосом, когда звали? Так пьяный же, какой спрос.

– Докатились! На троих с собакой соображаем, – сказала я, укладывая спящего Тарасика в кресло – начинающий алкоголик в тепле сразу отрубился.

– А чем тебе не компания? Хотя – да, надо валить отсюда, а то и не заметим, как органично вольемся в ряды аборигенов... Чисто спьяну.

– Ну пошли тогда.

– Погоди, надо ему пива взять. Чтоб не ломало поутру...

Мы купили Тарасику бутылку «Баварии» и покинули бар, а утром – и Симеиз.

\* \* \*

На этот раз я чуть не пролетела нужный мне поворот. Ноги шли и шли себе сами, я втянулась в бодрый армейский ритм. Я любила ходить пешком, особенно если надо было о

чем-то подумать, вот рефлекс и сработал – наоборот.

Задумавшись, я чуть не прошла мимо – заправка и кафе «Астрель», а рядом уходящая в сторону от шоссе бетонка.

Я пошла по узкой дороге, трогая нарядные осенние кусты – бледно-зеленый, желтый, желтый, оранжевый, алый, багряный, фиолетовый, желтый, желтый...

Солнце палило все сильнее, и если бы не милосердный ветер, жара была бы невыносимой.

Я вспомнила Артюшин шедевр, из раннего:

*Я – ветер  
Я – ветер  
Я – ветер, а ты?  
Ты – чайник!*

И усмехнулась.

Давно мы не виделись, ох давно. Последние полгода я думала о нем почти каждый день, это было моей утренней мантрой – пила кофе, смотрела в окно и думала: вот завтра поеду к Артюше, завтра поеду к Артюше в Киев, и мы помолчим. Мне надо было помолчать с ним, подумать (о себе, о жизни, почему я снова как мчащийся по вертикальной стене мотоциклист: стоит снизить скорость – и упадешь), взглянуть на его дочку, я знала, что Зина родила ему девочку, он прислал мне эсмэску одним словом: «Дочка».

Я увидела недостроенный дом, а за ним – поворот на дорогу, на этот раз из щебенки, и свернула туда. Как в сказке – сначала пойдешь по песчаной дорожке, потом по глиняной, потом по каменной...

Дорога плавно огибала холм, и сразу за ним начиналась добротная ограда – гранитное основание, чугунное кружево, и рядом – пешеходная дорожка, выложенная каменными плитами.

Я приблизилась к высоким кованым воротам, толкнула створку, вошла.

Место было хорошим – и травы луговые, и птицы, и лилии, пусто и просторно, как мы любим, несколько холмов, как китовые спины, рядом и только с одного пока сбегает невеликий кварталчик города мертвых – свежие могилы с простыми железными крестами, и одна улица уже с памятниками, гранитными и мраморными.

У самых ворот – солидная кладбищенская контора, чуть подалее – недостроенный фонтан с плачущими ангелами по центру, и от фонтана – снова дорожка, обсаженная ноготками, а слева строят беседку – два полуголых черноволосых красавца (ну чем не могильщики из итальянского порно?) роют ямы под деревянные столбы.

Майка все очень толково объяснила – сначала по обсаженной ноготками дорожке до большого мусорного бака, там свернуть – и до первого памятника черного гранита с чудовищным портретом молоденькой блондинки и надписью: «Дорогой, любимой доченьке от мамы, папы и Володи, вечно скорбим», там снова свернуть, и еще раз – у третьего креста слева, пройти немножко вглубь, там и будет Артюша. Я легко нашла.

«И посмотри, сделали они каменную оградку, они обещали. Сказали – памятник только через год можно, почвы плохие, проседают, а оградку обещали».

Сделали они оградку, не обманули, молодцы.

Огорожено было с запасом, Артюшина могила и место под еще одну – Зинка озаботилась.

Ну хоть так, думала я, ты будешь всегда лежать рядом с ним. На это место точно никто, кроме тебя, не претендует.

Мне не было стыдно за свои мысли, я думала без зла, мне было жаль ее, Зину, Зину-корзину, бедную любящую девочку. Много ли она видела радости, пока он был жив?

Она всегда хотела быть рядом с ним, хотела, чтобы он ее любил, а он – любил другую, спал с другими, но, выходит, любовь побеждает все, именно она, Зина, стала главной

женщиной его жизни – родила ему ребенка и будет лежать рядом с ним, когда смерть соединит их. Ничего, Зина умеет ждать как никто.

Но пока я здесь побуду.

Я перешагнула оградку и села на землю рядом с могилой.

Зачем я сюда приехала?

Затем, чтобы падать на могильный холмик, царапать сыру землю, плакать, выть – миленький мой, соколик ты мой, на кого ж ты меня покинул жить одну?.. – и дальше по тексту.

Но слез не было. Я сидела, сложив ноги кренделем, гладила влажную могильную землю, чуть подсушенную поверху солнцем, и бессмысленно, снова и снова, перечитывала табличку на кресте:

**Артем  
Мехлевский  
21.04.1971 – 17.05.2008**

Он умер три месяца назад. В середине мая. Тогда я плакала.

Мне позвонил братец мой, Митенька, и сказал:

– Артем умер.

– Какой Артем? – спросила я. В этот момент я ругалась со своим мужчиной. Обидно, но именно этот эпизод нашей совместной истории я теперь буду помнить всегда: я сижу в кресле, сложив ноги кренделем, с ноутбуком и сигаретой, а он стоит у двери. Мы переругиваемся – вяло, холодно и безжалостно, как могут только смертельно уставшие друг от друга люди.

– Наш Артем. Мехлевский, – сказал братец.

– Ты спятил? Ты что?!! Артем?!! Не может быть! Как?!! Когда?!! Что случилось?!! – Я сразу заплакала. Нет, не то чтобы я заплакала как полагается, просто слезы покатались по лицу, крупные, как горох, стекали по подбородку, капали на сигарету, а я-то была в ярости, я не хотела верить, нет, ни за что.

– Ну, я пошел, – сказал мой мужчина и сразу смылся. Нет, он не был бессердечным ублюдком. Во-первых, он не знал, что со мной делать в таких случаях – за те пять лет, что мы провели вместе, я плакала едва ли трижды и каждый раз прогоняла его от себя, так что, извините, у человека сработал рефлекс. Ну а во-вторых, мы надоели друг другу. Устали. Измучились. Наши дорожки то сходились, то расходились, и похоже, между нами не осталось ничего, кроме глухого раздражения. А утешать женщину, которая раздражает, стал бы только ангел.

Митя еще что-то говорил, но мне вдруг стало дурно, как институтке, нет, скорее, как панку, я бросила трубку и ринулась в сортир.

Меня долго рвало, я никак не могла отдышаться, потом умывалась, потом снова плакала. Потом выкурила три сигареты и перезвонила Мите.

Артем был болен, страшно болен. И долго – девять месяцев понадобилось смерти, чтобы одолеть его, девять месяцев, столько, сколько обычно требуется любви, чтобы прорасти в жизнь.

Никто не знал, кроме двух человек – Майки и Фимы, Фимы Лозинского, да благословит господь его рыжую голову.

Год назад Артюша свалился со строительных лесов на объекте, переломался, конечно, здорово, и Фима, будучи его непосредственным начальником, поехал с ним на «скорой». По дороге позвонил Майке – она тоже была тогда в Киеве.

Почему Майке, а не Зине? Да потому, что Артем попросил. Чтобы не пугать жену, которая кормила младенца. Чтобы не волновалась. Чтобы не перегорело молоко. Или просто потому, что Майка была тогда в Киеве.

Фима с Майкой бледнели и трусили, Артем шутил, хирург шутил – ничего, дело молодое, жить будет.

А потом тот же хирург сказал – нет, извините. Не будет жить. Рак.

– Когда похороны? – спросила я у брата.

– Завтра утром. Гло, ты не успеешь...

Но я уже бросила трубку, заметалась по дому неуклюжей цаплей, сбивая стопки книг, опрокидывая стулья, швыряла вещи в сумку и опомнилась только у входной двери.

Кошка запрыгнула на шкаф и орала на меня оттуда пакостным, скрипучим голосом, прижав уши и вздыбив шерсть на хвосте. Испугалась.

Да, теперь у меня была кошка. Тарасик погиб два года назад – влетел под колеса.

– Стоп, – сказала я себе, бросила сумку и села на пол, – стоп. Куда ты спешишь? Теперь-то, сука, куда тебе спешить?

Я набрала Майкин номер. Она сразу заговорила в трубку, быстро, устало, без тени слез, чуть раздраженно:

– Гло, не приезжай. Гло, слышишь меня? Пожалуйста, не приезжай. Тут такой дурдом... Родители не знали, представляешь? Мама в шоке. Неожиданно умер сын. Только сегодня приехали, я не знаю, что с ними делать, они просто в шоке... А еще эти его... Я не знаю, что будет на похоронах... Эти его девки, ни стыда ни совести... Тут очередь уже выстроилась из тех, кто будет в слезах кидаться на гроб... А у него жена... И ребенок... Совести нет совсем... Я не знаю, что со всем этим делать...

– Скажи им – не при матери. Скажи – мать не знала, надо уважать ее горе.

– Думаешь, поможет?

– Нет. Но надо попробовать.

– Точно, не поможет... Каждая хочет главную женскую роль в этом спектакле... Как бы не передрались... И Зинка еще, ты ее знаешь... Ей и так плохо, а тут еще... Гло, будет фарс, будет очень стыдно, не приезжай, пожалуйста... Они все у меня на руках, и я уже не знаю, что делать...

Я сидела на полу, гладила кошку, вытирала слезы – нет, не то чтобы плакала, слезы были отдельно от общего течения мысли. Словно дождь за окном.

Почему он мне не сказал, думала я, почему?

Но я знала почему. Кто из близких мне людей был осведомлен о моих болезнях и горестях? Друзья? Вот еще. Мама? Боже упаси! Зачем бы я стала ее волновать? Чтобы что?

Сообщать кому-то, что ты болен, что тебе плохо – чтобы человек огорчился, дергался, беспокоился, не зная, как помочь? Глупо.

Но почему, почему он мне не сказал?.. Я бы приехала. Я бы постаралась помочь. Дергалась. Огорчалась. Переживала. Черт возьми, я любила его.

Меня утешало только одно – он был не один. Майка. Фима. Они были с ним, не дали ему умереть в одиночестве. Хорошо, что наш любимый фокус – скрыть всё от всех – удастся далеко не всегда.

Были обследования и уточнение диагноза – нет, нет, надежды нет, – и счета из больницы.

Фима, благослови господь его доброе сердце, весьма состоятельный человек, продал все, что у него было, и подбирался уже к продаже собственной квартиры, лишь бы Артем жил.

Кроме этих двоих – Фимы и Майки, – никто не знал. Даже Зина.

Сперва, пока Артем был в гипсовом доспехе, ей ввали, как маленькой, что он уехал в командировку, и Фима каждый месяц передавал ей «деньги от мужа».

Потом ей все же сказали, что Артем болен. Правда, забыли уточнить, что смертельно.

Артем, несмотря на Зинкины протесты, перевез ее с ребенком обратно в Харьков. «Пусть будет к вам поближе, – сказал он Майке, – чтоб не одна».

Зина же думала, что это сам Артем хочет быть поближе к Майке, приходила в отчаяние, теряла терпение, скандалила с ним.

Артему же было не до скандалов. Трое заговорщиков решали, как быть.

Майка говорила – надо сказать Кириллу, мы продадим квартиру, нет, Артюша, не всю, переедем в комнату, тогда денег будет больше, деньги помогут, сейчас новые технологии, надо только их купить.

Артем говорил – нет, ничего не надо, у меня-то будет уютная могилка, а вы все останетесь бездомными, нет, так не пойдет.

Фима, благослови господь его светлую душу, говорил – молчи, Артем, нельзя сдаваться, мы будем бороться до последнего, дома – дело наживное, а такого, как ты, мы больше нигде не купим, уникальный экземпляр...

Ручной работы, шутил Артем, но, боюсь, в моем случае работа все-таки была х...вой.

Артем не захотел оставаться в больнице – дорого и бесполезно.

Майка и Фима возили его на консультации, на терапию, а Зинка, бедная Зинка, чувствуя, что от нее что-то скрывают, подозревала только одно – измены. Он снова ей изменяет. Он снова не с ней.

Слез все не было. Я гладила и гладила землю, механически, как спящую кошку, фальшиво шептала: «Что же ты, Кортасар? Как же ты так? Эх, ты...»

Я не могла поверить, что он умер, то есть я знала, что никогда не увижу его, но поверить, что он лежит под этим дурацким крестом с этой дурацкой табличкой – не могла.

Я никогда не верила в смерть. В свою – и это делало меня бесстрашной (или безмозглой?). В чужую – и это делало меня... бессердечной?

Плакать не хотелось. Хотелось лечь, прижавшись спиной к могильному холмику, и уснуть.

Я не думала – как же я буду без него? Я знала, что буду по-прежнему, все, как обычно, только без него.

Незаменимые есть. Пазл моей жизни никогда не будет полным, запасных деталей нет, и теперь, без него, там будут темные дыры.

Они ругались. Зинка звонила Майке, Кириллу, жаловалась на Артема – она так больше не может, он негодяй, горбатого могила исправит, лжец, лжец...

Майка ее успокаивала. Говорила, что он плохо себя чувствует, что надо потерпеть, переждать, не надо его ругать, пожалуйста, не надо...

– Ты всегда на его стороне, – в один из вечеров зло сказала Зинка и бросила трубку.

Через пять минут телефон зазвонил снова.

– Кирилл, возьми, пожалуйста, трубку, – попросила Майка, – я больше с ней не могу...

– Алло. Привет, Зин. Не нервничай, – сразу добродушно забухтел в трубку Кирилл.

– Артем умер, – сказала Зина.

– Да не п. ди! – ошалело сказал Кирилл, интеллигентный и религиозный человек, от которого никто и никогда не слышал бранного слова.

– Я не обманываю. Мы поругались. Он лег, задышал так тяжело... А теперь не дышит. Он умер, Кирюша.

Перетирая в пальцах комочки могильной земли, я думала о жестокости. Об этой беспримерной жестокости, с которой мы, оловянные солдатики, стальные балерины, бережем своих близких.

Так нельзя, думала я, а с нами надо что-то делать.

Пристегивать к креслу, как Алекса в «Заводном апельсине», фиксировать голову и насильно заставлять смотреть голливудские мелодрамы. О любви. О доверии. Пока не затошнит. Чтобы мы научились любить. Чтобы мы научились позволять себя любить.

Потому что никто не вправе поступать так с любящими. Так их беречь. Решать за них.

Артем хотел уберечь Зину от лишних страданий? И что в результате? Оттолкнул ее, как

всегда, не позволил быть с ним. А ведь она любила его.

Да что я-то знаю о любви? Только то, что она есть?

Я вдруг увидела себя со стороны – банальная мизансцена, банальная реплика – и, забывшись, закинула голову и рассмеялась.

Женщина, проходившая мимо, возмущенно посмотрела на меня.

Я поклонилась, приложив руку к груди, мол, извините, а она, поджав губы, отвернулась.

Высокая женщина, худая и бледная. Суровое, решительное, но немного овечье лицо. Светлая прядь выбилась из-под черной косынки.

Она вела за руку миленькую беловолосую девочку лет четырех. Девочка несла букет мелких, пахнущих полынью, желтых хризантем.

У соседней могилы женщина сняла легкий летний плащ, положила на такую же, как у Артема, каменную оградку, вытащила из сумки две большие пластиковые бутылки с водой, опустилась на колени и захлопотала у могилы, споро и деловито, словно у себя на кухне, – отложила увядшие цветы, вымыла банку, сменила воду, поставила свежие. Поднялась, протерла тряпочкой крест и табличку, достала маленький пластиковый веник и взялась подметать вокруг могилы.

Все это время девочка стояла рядом и ныла:

– Мама, пойдем отсюда! Мам, пойдем домой! Мама, пойдем отсюда!

– Потерпи, Светочка, надо же навести порядок тут, у папы, – сказала женщина.

Девочка надулась. Топнула ногой.

– Папа-папа... Та шо вы мне все говорите! Нет здесь никакого папы!!!

Ай, браво! – подумала я. Плюс один, детка.

Когда опустились сумерки, я пошла прочь – сначала по каменной дорожке, потом по бетонной, потом по асфальтированной.

Совершенно ни к чему, просто так, просто в ритм шагов, я напевала про себя один из древних Артюшиных шедевров:

*настойчиво падают вилки и ложки  
наверно сойдутся сюда  
все те, кого знал я хотя бы немножко  
и целовал иногда  
и если придут они одновременно  
займут и квартиру и двор  
я встану на стул и скажу непременно  
что я к ним по-прежнему добр*

## **Наталия Оленева** **Письма инопланетянам<sup>3</sup>**

### **Письмо 1**

Дорогая Флора!

На самом деле письма – единственный жанр, в котором я что-то из себя представляю. Дело здесь, видимо, в том, что я попросту болтлива – где у нормального человека слово, там у меня целый разговор. Из тех, кого я знаю, превосходят меня в болтливости лишь моя мать, да продлит Высший Разум ее дни, и ты, дорогая Флора. Поэтому обратиться к тебе устно я не

---

<sup>3</sup> Издается в авторской редакции.

смогу. Но ты, как и многие мои подруги, любишь получать письма, и так я могу говорить тебе много и получать в ответ твои душистые письмена, преисполненные тобой. Иное дело – сестра твоя Фауна. Она молчалива, даже угрюма. Случается, она не ответит на «доброе утро», а уж о том, чтобы написать что-либо, нет и речи. Она и читать не станет, даже маленькую записку – так, посмотрит на нее и бросит. Не стоит трудиться адресовать ей что-либо. Тебе же я могу написать обо всем, что случается со мною за день, даже о том, чему ты сама была свидетелем.

День этот, как обычно, я провела в полном покое и уединении, нарушаемом лишь моей ручной игуаной, двумя прекрасными рыцарями, починявшими на кухне потолок, моей приятельницей Орой, зашедшей ранним утром в наш сад за клубникой, сеньорой Ольгой – той, что не в своем уме, – известной тебе Валентиной да твоей сестрой Фауной, без которой не обходится ни один мой день. Так что день выдался спокойный. Вечером, заскучав, я вышла пройтись, захватив лишь игуану, и продолжительное время гуляла в лесу, где мне встретился Олень. Зная из опыта, как он пуглив, я даже не попыталась погладить его, и моя деликатность была вознаграждена – он тотчас скрылся в чаще, откуда принес мне сто украинских гривен одной банкнотой. Он поступает так примерно раз в месяц, приблизительно в седьмой лунный день. Из ста гривен я тотчас потратила сорок – купила две простыни, голубую и розовую. Надеюсь, что прекрасный рыцарь, тот, что нравится мне более других, сумеет их оценить. Нет нужды называть его имя, ты знаешь, кого я имею в виду, но никому и ни за что не скажешь этого – ты прекрасно умеешь хранить секреты, не то что твоя сестра Фауна.

Писать делается темно – солнце заходит, отсветы розовых сполохов упадают на бумагу. Завтра ожидается тяжелый день, даже если не принимать в расчет твою сестру Фауну. С утра мы с Валентиной собирались устроить диспут на политические темы. Главный вопрос – голосовать ли за Хрющенко, или же предпочесть ему Хренуковича? Валентина склоняется к Хренуковичу, мотивируя это тем, что у Хрющенко все время расстегнута ширинка. Ночью я буду думать, согласиться ли с ней. Бант ношу пока оранжевый.

Еще завтра мне предстоит новая лесная прогулка. Нужно отнести Оленю бутерброды с сыром. Мы должны заботиться о представителях биосферы, но если бы ты знала, милая Флора, как не хочется вставать рано. Игуана простудилась и кашляет, поэтому останется дома.

На этом прощай, дорогая подруга. Будешь в моих краях – заходи. Можешь захватить с собою грибов, сделаем фондю.

*Твоя навеки,*

*М.*

## Письмо 2

Милая Флора!

Сегодня с утра мне пришло на ум, что неплохо было бы заглянуть в мою сумочку – ту, черную, что я всегда ношу с собой. В последнее время мне стало казаться, что она чересчур тяжела для меня и что стоит, возможно, вынуть из нее что-то не очень необходимое. Вот что я нашла в ней.

1. Записная книжка с адресами и телефонами, начатая в прошлом году.
2. Записная книжка с адресами и телефонами с 1998 по 2001 год, толстая.
3. Записная книжка, подаренная мне подругой, когда мы обе учились в третьем классе, с адресами и телефонами с третьего класса по 1997 год. Неизвестно, куда запропастилась записная книжка с 1997 по 1998.
4. Визитная карточка адвоката по фамилии Царелунг.
5. Визитная карточка адвоката, фамилия залита крымской мадерой 1997 года.
6. Неисправная зажигалка, подарок любимого человека.
7. Фотография сына троюродной сестры моего бывшего мужа.

8. Два ключа на колечке – один от одной двери, второй – от другой, и при них брелоки: плексигласовый с видом Софиевского парка в Умани, прозрачный сиреневый дельфин, крупный камень тигровый глаз, стеклянный граненый шарик, «всевидящее око», крошечный блокнотик с изображением доллара на обложке, итого шесть штук.

9. Ключ от туалета на зеленом шнурке.

10. Ручки с красными чернилами, две штуки.

11. Ручка с синими чернилами, подарок Беллы Клещенко, журналистки из Москвы.

12. Ручка с черными чернилами.

13. Зеркальце из Турции.

14. Еще зеркальце, не такое красивое, но побольше.

15. Расческа без ручки.

16. Много анальгина.

17. Роман в бумажной обложке, название сказать стесняюсь.

18. Презерватив со вкусом банана. Жевала его, жевала – никакого банана, резина, и все.

19. Паспорт гражданки Украины с фотографией Пикачу.

20. Три китайские монетки для гадания на Книге Перемен.

21. Левомецетин.

22. Правомецетин.

23. Письмо из другого города, даже не из нашей страны, в длинном конверте.

24. Диск с игрой про приключения не то кузнечика Кузи, не то медвежонка Игнаши, для детей от 5 до 13 лет.

25. Исчезательный порошок.

26. Кошелек. В нем деньги – 387 гривен 73 копейки. Еще в нем картинка с изображением яблока, визитная карточка адвоката Надежды Стеценко, визитная карточка агента по недвижимости, фамилию не скажу, агент – фуфло, бумажка с телефоном адвоката Полины Ли, дисконтная карточка немецкой химчистки и три китайские монетки для приманки денег.

27. Помада, фирму назвать стесняюсь. Впрочем, чего стесняться – «Руби Роуз». Цвет перламутрово-розовый.

28. Много поломанных зубочисток.

29. Квитанция на заказное письмо в другой город, даже не в этой стране.

30. Бумажка с телефоном Эстер, маникюрши.

31. Дискета «Самсунг».

Подумав, я решила выбросить к чертовой матери визитку адвоката по фамилии Царелунг – хотя жаль, она такого красивого оранжевого цвета. Без поломанных зубочисток тоже плохо – многие из них не сильно поломанные. Целые зубочистки у меня вечно отбирает твоя сестра Фауна, и что она с ними делает, неизвестно. Брелоки вот довольно тяжелые, но все они дороги мне как память. Выброшу презерватив, толку от него никакого. Два зеркальца – это много, но одно из них удобное, а второе – красивое. В общем, больше ничего выбросить не получается, и я в отчаянии. Если можешь, посоветуй что-нибудь.

*Вечно твоя,*

*М.*

### **Письмо 3**

Дорогая Флора!

Есть, наконец, предел и моему терпению. До чего несносна твоя сестра Фауна!

Или она заходит ко мне рано утром, когда я еще сплю, или поздно вечером, когда я час как уже легла. Если я покупаю себе дешевую кофточку, которая мне к лицу, она рассказывает моим гостям, сколько кофточка стоила. Если же я покупаю дорогую кофточку, она покушает точно такую же, идет на ту же вечеринку, что и я, да еще является на

пятнадцать минут раньше, чтобы потом все сказали, что у меня кофточка, как у Фауны. Стоит прекрасному рыцарю в ее присутствии заговорить со мной, как она тотчас же спрашивает, прошло ли мое расстройство желудка и все ли еще мой стул зеленого цвета. Любого благородного кавалера, обратившего на меня свои взоры, она немедленно признает негодным, уродливым и во всех отношениях недостойным, после чего тут же принимается с ним флиртовать. Игуане она говорит «брысь». Вечно сестра твоя недовольна всем – направлением ветра, блюдами на завтрак, городским транспортом, домашними и дикими животными, правительством и парламентом, евреями и гоями, мужчинами и женщинами. Но всегда ее можно встретить везде, где встречается и все перечисленное, а также и в тех местах, где этого нет. Что делать с твоей сестрой? Как хорошо, милая моя Флора, что ты не такова.

*Твоя М.*

## Письмо 4

Уважаемые инопланетяне!

Спасибо за скорый ответ. Нет слов, чтобы выразить мою радость при известии, что вы согласились рассмотреть мое резюме. Напоминаю, что я предложила свою кандидатуру для замещения вакантной должности наблюдателя-резидента. Подчеркиваю, я не претендую на работу, связанную с командировками, – не таков склад моего характера, да и игуана требует постоянного внимания.

По вашей просьбе более подробно опишу то, что вы называете средой обитания.

Обитаю я в городе Одессе. Город Одесса – это... как бы вам объяснить. Это такое место. Здесь еще обитает много людей, гораздо больше, чем это удобно, но все же меньше, чем мне бы хотелось, а то выйдешь на улицу, а там ходят все те же люди, надоело, прямо хоть не выходи. Иду утром на работу, выхожу в 8.15, и на углу Осипова и Чкалова встречаю женщину, которая ведет в детский сад маленькую девочку. Если я выйду в 8.10, то встречу ее на углу Осипова и Кирова, но не встречу ее я смогу, только выйдя в 8.20, а тогда я опоздаю на работу. Женщина на вид вполне симпатичная, просто мне все надоело.

Город Одесса – это место, созданное совсем не для того, для чего оно используется. Для чего оно было создано – не знаю, но используется оно для жизни людей, которые едят, ходят на двух ногах, носят в кошельках деньги, разговаривают друг с другом и говорят друг другу, что погода плохая, а денег все меньше и меньше. Еще они предаются религиозным культам и политической борьбе. Политическая борьба – это когда люди ходят по улице не просто так, а с кусками разноцветной материи разного размера и кричат одинаковые имена двух разных людей. Еще они мусорят, то есть оставляют ненужные им вещества и предметы в общедоступных местах.

Климат здесь хороший, только летом жарко и пыльно, а зимой холодно и грязно.

На этом я прощаюсь и остаюсь

в ожидании ответа,

*ваша М.*

## Письмо 5

Автобиография.

Имя – М.

Дата рождения – ой!

Место рождения – не здесь. Даже не в этой стране. Можно сказать, очень далеко.

Образование – плохое. Много читала, особенно романов и еще про Шерлока Холмса.

Трудовая биография. Ладно, по порядку.

В шестнадцать лет я мыла посуду в столовой пятого цеха производственного объединения «Сибкабель».

В восемнадцать лет я солила капусту в промышленных масштабах.  
Потом я ничего не делала.  
Потом учила английскому языку одного философа-коммуниста.  
Потом торговала авангардными иконами.  
Потом гадала на картах и занималась хиромантией.  
Потом мошенничала с недвижимостью.  
Потом изготавливала и продавала исчезательный порошок.  
Потом подделывала документы.  
Потом занималась сватовством.  
Потом грабила офисы.  
Потом работала в газете корректором.  
Сейчас жду предложений.  
Желаемая должность – инопланетный шпион; инопланетный дипломатический и торговый представитель; переводчик с/на инопланетные языки.  
Минимальная зарплата – ну-у, я даже не знаю, а каков курс вашей валюты?

## Письмо 6

Дорогая Флора!

Надеюсь, ты и твои домашние здоровы. Грипп свирепствует, это просто демон какой-то. Сквозь стекло зимнего сада я вижу тучи вирусов, бьющихся о стекла. Иногда приходится брать веник и, высунув руку в форточку, отгонять их, иначе солнечный свет просто не попадает в окна, растениям это вредно. Игуана скучает. Сегодня не взяла ее с собой на Привоз – холодно, а она не вполне еще оправилась после болезни. На Привозе купила ей две ленточки на шею – оранжевую и зеленую. Еще купила себе кофточку.

Смотрела английский рождественский фильм про разлученных в детстве близнецов. Очень плакала. На звуки моих рыданий прилетел ангел, лет двух, в голубом вязаном комбинезоне с далматинцами, плакал со мной. Съел два шоколадных печенья, пил морковный сок. Предыдущий ангел, который смотрел со мной последнюю серию «Эсмеральды», морковного сока не пил, плевался, жевал мятную жвачку. Большинство ангелов все же любят фильмы про детей, лучше сироток, безвкусицу вроде «Кудряшки Сью». Сериалы как-то меньше их привлекают, разве что те эпизоды, где матери находят потерянных детей, ну, и еще последние серии, когда все обретают свое счастье. А на эту тягомотину, типа кто кому что сказал, и как на кого посмотрел, да как фирма обанкротилась, их ни за что не приманишь, я проверяла.

Видела на Привозе игрушечного кролика с очень жалобной мордой. Не купила – не могла без слез на него смотреть и не купила, чтобы не расстраиваться. Теперь жалею – он ведь так и остался некупленным и лежит теперь там, на базаре, а я здесь, без него.

Должно быть, у меня все же грипп – все меня расстраивает сверх меры. Пойду приму аспирина и поиграю с игуаной.

*Вечно твоя,  
М.*

## Письмо 7

Дорогая Флора!

Ты уже слышана о нашем землетрясении. А теперь я расскажу тебе о наводнении в Одессе. Случилось оно буквально сегодня. Утром мне позвонила Неизвестная Женщина и попросила забрать посылку для Оли Берендеевой. Дескать, забрать ее нужно срочно, так как Неизвестная Женщина сегодня же после обеда уезжает, но не ранее определенного времени, так как до того ее не будет в условленном месте. Вот буквально в четыре пятнадцать она приходит, отдает мне посылку и в четыре двадцать уезжает в конном экипаже. Спросонок я

едва додумалась записать адрес. Потом я вышла на веранду и посмотрела вниз. Во дворе стояла вода, и уровень ее достигал окон первого этажа. Вода заметно прибывала, и кошки уже плыли к доскам веранды.

Постояв так некоторое время, я расстроилась, потому что планировала утром пойти в магазин за сыром. Все же я надела куртку и спустилась по лестнице. Плаваю я плохо, но на веранде сохранились доски и листы фанеры, оставшиеся после ремонта потолка на кухне. Кое-как связав их поясом от халата, я рассудила, что плыть недалеко, взяла игуану и отправилась в магазин. Выплывая со двора на улицу, я встретила свою подругу Лулу, в кожаном плаще с чернобуркой, плывущую брассом. Вода тем временем уже текла в открытые форточки первых этажей.

Купив сыру, мы с Лулу вернулись домой. Первые этажи затопило полностью, но уровень воды, кажется, стабилизировался. Мы выпили кофе, и Лулу, позаимствовав две мои доски, отправилась восвояси.

Некоторое время мы с игуаной ели сыр и смотрели телевизор. Так мы провели первую половину дня. Затем наступило время плыть за посылкой. В общем-то и плыть было не так уж далеко, тоже в центр, но в водоплавании у меня очень мало опыта. Мы с игуаной погрузились на плот, взяли с собой непромокаемый кулек для посылки, шарик за Хрющенко вместо спасательного средства, оттолкнулись куском арматуры, оставшимся после починки потолка на кухне, и поплыли. На углу Осипова нам встретились два хасида Хабад в резиновой лодке, плывшие в синагогу на молитву Минха. Навстречу прямо по дну проехал джип – а что ему сделается, джипу, окна позакрывал и едет. Несколько старух двигались вдоль стен, держась за выступающие части зданий. Мы также медленно двигались, отталкиваясь арматуриной от всего, от чего только можно. Примерно на Пушкинской угол Жуковского я устала. Но что было делать, не возвращаться же. На Ласточкина возле почты нам встретилась твоя сестра Фауна. Она плыла в бежевой детской ванночке, в руке у нее была толстая проволока с крючком на конце, и занималась она, по всей видимости, вытаскиванием со дна ценных предметов, потерянных убежавшими в панике гражданами. На краях ее ванночки уже сохли несколько бумажников, золотые кольца и контрольный пакет акций «Лукойла». Нас она не заметила, занятая поимкой на крючок очередного улова.

Доплыв до места назначения и едва не попав под подводно плывший третий трамвай, мы благополучно встретили Неизвестную Женщину, которая посетовала, что из-за наводнения ей приходится менять свои планы и убывать из Одессы воздухом. Спустив нам посылку на веревочке с крыши, на которой она все это время стояла, Неизвестная Женщина влезла по веревочной лестнице в корзину воздушного шара и на нем улетела.

Тем же путем мы отплыли назад. На Дерибасовской продолжался митинг, и судя по доносившимся оттуда крикам, одни его участники полагали, что наводнение есть не что иное, как провокация сторонников Хрющенко, другие же были уверены, что все спланировано в штабе Хренуковича. Многие уже пускали пузыри на почве политического антагонизма, хотя в таких условиях говорить о какой-либо почве не приходилось. На поверхности воды плавали цветные ленточки.

В районе улицы Чкалова я заметила, что вода спадает. И едва мы успели втащить плот на веранду, как уровень воды резко понизился. Уже через полчаса после нашего возвращения вся вода непонятным образом ушла под землю. На этом наводнение кончилось.

Больше ничего особенного в этот день не происходило, разве что я нечаянно просыпала на Валентину исчезательный порошок, и теперь ее невозможно найти – то ли она дома и спит, то ли воспользовалась невидимостью и ушла куда-нибудь.

Да, кстати, милая Флора, Оля Берендеева так до сих пор и не знает, что у меня для нее посылка. Поэтому, если увидишь ее, передай, чтобы позвонила мне.

Всех тебе благ.

*Твоя М.*

Уважаемые инопланетяне!

Вы просили написать о мужчинах и о том, чем они отличаются от женщин в быту. В смысле, я так поняла, вы знаете, чем они отличаются анатомически. Ну пожалуйста.

Некоторые говорят, что я люблю женщин. Они имеют в виду, что я люблю женщин больше, чем мужчин. И вот так вот улыбаются. Что я могу на это сказать?

Да! Я люблю женщин. Гораздо больше, чем мужчин. Сами подумайте, разве может быть по-другому. Ведь и сами мужчины любят женщин больше, чем мужчин. Это потому, что женщины лучше. А мужчины – хуже!

Вообще-то я много знаю о мужчинах, но затрудняюсь эти сведения систематизировать. Так что привожу их в порядке вспоминания и далеко, далеко не все. То, что следует далее, есть гневная филиппика (кто не знает, филиппика – это примерно то, что сказал певец Киркоров той журналистке; обличительная речь).

Например. Мужчина, который умеет починить протекающий кран на кухне, говорит про мужчину, который не умеет починить кран, что тот не мужчина. А мужчина, который не умеет, говорит, что настоящий мужчина – тот, который зарабатывает деньги, а кран пускай сантехник починяет. Оба они считают, что починка крана – дело серьезное и дает мужчине, который этим занят, право сквернословить, оскорблять домашних и требовать, чтобы они все бросили и принесли ему разводной ключ. Они же считают, что никакая работа по дому, кроме той, которую выполняют они, не дает никому права раздражаться, выражать недовольство или медлить.

Еще они целуют дамам ручки и думают, что это хорошо. То есть, представьте себе, какой-то мужчина при встрече или при знакомстве даже берет мою руку и касается ее губами. И хорошо еще, если папироску затушит перед тем. И он думает, что я должна этому радоваться. Это как бы проявление галантности с его стороны.

А если женщине не нравится то, что они делают, они говорят, что она сумасшедшая феминистка и лесбиянка. То есть вот кто-то мне говорит: «Ты моя конфетка», – и щиплет меня за попу, и если я не визжу от радости, так я феминистка и лесбиянка.

Так черт с ним, пускай. Ни одна женщина никогда без спросу не щипала меня за попу. По правде говоря, ни одна женщина вообще не пыталась ущипнуть меня за что бы то ни было. И ни одна женщина ни разу не воспринимала мою просьбу передвинуть шкаф или помочь донести сумку как приглашение к половому акту. Хотя в большинстве своем женщины красивее мужчин. И готовят в среднем лучше, и не хвастаются, и не говорят, что нельзя доверить бабе делать шашлык. Мужчины тщеславны, нетерпеливы и трусоваты. Они не могут мыслить оригинально. Здесь обычно ставится «но» – дескать, но куда же без них? На этот раз никакого «но» не будет. От этого мужчины не исчезнут, конечно, но и доброго слова они от меня не дождутся.

Будьте здоровы, уважаемые инопланетяне.

*Искренне ваша,*

*М.*

## Письмо 9

Дорогая Флора!

Все вроде бы хорошо. Валентина показалась первого января, сказала, что действие исчезательного порошка закончилось и теперь ей хочется пива. Я одолжила ей два рубля, и она снова исчезла, на этот раз без моей помощи. Все же мы успели заспорить о половом поведении котов и кошек. Сошлись, однако, на том, что коты – страшные кобели. У игуаны брачный период, она сидит на подоконнике и смотрит в туманную даль.

Оля Берендеева приехала вечером первого же числа на белом слоне. Мы ели капусту и пили вишневый чай. Тебе большой от нее привет. Посылке она очень обрадовалась, говорит – очень кстати. Подарила мне шоколадку с горным воздухом внутри.

Валентина оставила на моем столе подарок – три белые чашки с цветочками.

Прекрасный рыцарь, имя которого ты знаешь, подарил мне набор ниток для вышивания.

Твоя сестра Фауна прислала мне с нарочным пакет с открыткой и перламутровой пуговицей, которую она же сама злонамеренно отрезала от моего синего бархатного пиджака.

Красивый лиловый пеньюар от тебя я получила, большое спасибо.

Сеньора Ольга, которая не в своем уме, подарила мне половину клада, который ее покойный муж зарыл с западной стороны от дома, возле конюшен. Правда, этот клад нужно еще выкопать. Сеньора заклинала меня остатки этого клада, если таковые будут после моей смерти, завещать Обществу поддержки одиноких матерей. Я заверила ее, что, даже если клад и отыщется, остатков никаких не останется.

Инопланетяне прислали мне шарик из неизвестного материала, наполовину прозрачный, наполовину цвета мокрый асфальт металлик. Что с ним делать – не знаю. Он вообще-то тикает, так что положила его на кухне, чтобы не мешал спать. Когда Валентина появится, спрошу у нее, что с ним делать.

Моя подруга Лулу подарила мне пакет с бутылкой шампанского и котлетами по-киевски.

На этом подарки закончились, разве что некоторые могли запоздать, если их отправили международной почтой. Самец игуаны не может прибыть в ближайшие дни, но я надеюсь получить его как можно скорее. Выбирали мы его вместе с моей игуаной, по каталогу, и выбрали того, который посимпатичнее, но ты же знаешь, на фотографии для каталога они все очень милые и действительного положения дел это ни в коей мере не отражает.

На этом прощаюсь, жду твоих писем и тебя в гости.

*Вечно твоя,*

*М.*

## Письмо 10

Здравствуй, прекрасный рыцарь, являющийся мне в снах!

Поскольку ты являешься мне только в снах, я решила, что написать тебе будет вполне безопасно.

А то знаешь, как бывает. Однажды я два месяца писала письма одному рыцарю, а он потом продал их в журнал. Лучше бы я сама продала их в журнал, хоть деньги бы получила. Потом еще был случай: я писала письма одному рыцарю, а другой рыцарь тырил их из почтового ящика и потом устраивал мне скандалы. Ой, совсем забыла, еще раньше был такой случай: я писала письма одному рыцарю, а другой рыцарь нашел и прочитал их, а потом пошел да и отвинтил первому рыцарю голову. С тех пор я стала очень придирчиво следить за стилем и орфографией – чтобы, когда мои письма похитят в следующий раз, мне не было за них стыдно.

А ты являешься во сне, поэтому не вызовешь ревности у того прекрасного рыцаря, который носит мои цвета – ну да, мои цвета, а еще мою картошку с базара и мой мусор к мусорному ящику. Письмо к тебе я положу под подушку. И тогда ты, если существуешь где-нибудь в реальности, сможешь получить его во сне.

Дорогой прекрасный рыцарь, я не создана для этого мира. Ты не думай, что я считаю мир плохим, а себя хорошей. Не подумай также, что я считаю себя плохой. Просто мир таков, каков он есть, но я-то не такова.

Было даже время, когда я думала, что рано или поздно меня заберут инопланетяне. Но инопланетяне тоже совсем другие, и даже если бы они забрали меня, это не решило бы проблемы. Однако в юности я проводила много времени на крыше в надежде, что именно сегодня за мной прилетят инопланетные спасители. Нет, я хотела сказать – спасатели.

Не спасло бы меня, и если бы мир изменился. Разве что я изменилась бы – но то была

бы не я, так что и говорить не о чем. Лишь тот, кто не существует в моем мире, может ничем меня не оскорбить, может не утомить и не напрячь, не пригрузить и не заколебать.

О прекрасный рыцарь, во сне я гуляю с тобой и разговариваю. Даже наяву я часто обращаюсь к тебе с мысленной речью – вот в страшный дождь вбегаю в арку своего двора, и мне приходит в голову невербализованная мысль, адресованная тебе. И я вхожу во двор, под дождь, потому что отчего-то мне кажется, что арка мешает мысли подняться. И я думаю свою мысль строго вверх и чувствую, что она достигает тебя.

Хотя отчего именно тебе адресованы мои мысли, в большинстве довольно дурацкие – про корм для игуаны; про наполнитель для игуаньего туалета; про то, нельзя ли как-нибудь подешевле пошить точно такое платье, какое я видела в дорогом каталоге; про Фауну, которая опять позвонила в половине двенадцатого спросить, отчего инаугурация Хрющенко назначена на пятницу, тринадцатое число, и не есть ли это *знак*; про то, какого именно черта я сама купила себе коричневые туфли, когда две сумочки у меня лиловые, а одна черная... – отчего все самые дурацкие мысли адресованы тебе, в чем ты виноват? Возможно, когда-то ты был мужем безобидной взбалмошной женщины и никогда не слушал ее, считал ее потребности капризами, а речи сплошь глупостями. Возможно, потом ты умер и в посмертное наказание явился мне во сне, и теперь вынужден слушать мои глупые речи и читать мои идиотские письма. Хорошо, милый рыцарь, что ты лишь сон, призрак, фантазия. Однако пиши мне.

Остаюсь с наилучшими пожеланиями,  
*твоя М.*

## Письмо 11

Уважаемые инопланетяне!

В вашем последнем письме вы выражали мне благодарность. Большое спасибо, я польщена. Еще прилагался список непонятных вам слов с предложением объяснить их смысл. Вы, конечно, понимаете, что я вам не толковый словарь живого великорусского, но чем могу...

Значит, начну с того, что таких слов и выражений, как *«герменевтика»*, *«на хуй»* и *«дискретный обскурантизм»*, я и сама не знаю, так что об их значении могу только догадываться. Скажем, *«дискретный обскурантизм»* – это может быть название болезни, типа ботулизма там или сальмонеллеза.

Дальше идет *«индекс Доу-Джонса»*. С этим легче. Это специальные американские слова, их произносят люди, которые хотят дать понять собеседнику, что они очень деловые.

*«Космополитизм»*. Это такое состояние организма человека, когда он ни в одной стране мира не хочет платить налоги и служить в армии.

*«Культуролог»*. Так называется человек, который может много непонятно говорить и писать, работать не хочет, а деньги получать хочет. Обычно культурологи обитают в крупных городах, пишут статьи и читают лекции. Если услышите от человека об *«аккультурации этнических групп»* или что-то в этом роде – это вот культуролог и есть. Человек, который умеет красиво говорить и при этом все же готов к минимальной работе руками, называется *«наперсточник»*.

*«Мыльная опера»*. Описание человеческой жизни с приведением конкретных примеров, в наиболее концентрированном ее, жизни, виде. В современном обществе просмотр мыльных опер считается постыдной привычкой низших слоев угнетенного населения.

На этом, кажется, все. Вы, правда, спрашивали еще, как размножаются ежи, но этот вопрос я никак не могу счесть ни чем иным, как шуткой. Это же и детям маленьким известно, как они размножаются: сначала еж знакомится с ежихой, они вместе ходят куда-нибудь, гуляют и разговаривают. Потом она представляет его родителям. Затем он делает ей предложение, и если родители одобряют ее выбор, то она знакомится с его

родителями, устраивается помолвка и назначается дата свадьбы. Об этом пишут в газетах, рассылаются приглашения, потом они женятся, едут в свадебное путешествие, а через некоторое время у них родятся дети. Странно, что вы этого не знаете; у нас этому в школе учат. Вот что значит культурный барьер!

На этом я прощаюсь, жду новых заданий.

*Искренне ваша,*

*М.*

## Письмо 12

Милая Флора!

Прошу простить меня за долгое молчание. Наконец прибыл долгожданный самец игуаны, и забота о нем и его размещении отняла некоторое время. Кроме того, произошли еще некоторые знаменательные события, и далее я о них напишу.

Сейчас самец игуаны проходит акклиматизацию в большом стеклянном ящике, который я поставила в зимнем саду. Моя игуана ходит вокруг ящика и рассматривает жениха. На вид он красив, а о его нраве и привычках мы ничего еще сказать не можем.

Подаренный инопланетянами шар помутнел внутри. Тикает уже тише, но чаще. Валентина говорит, что в прошлом году она настирала паркет в Совиньоне на даче у одного генерала, так там в гараже таких шариков было очень много, и никто их не считал, так что натереть можно было полную сумку – но кто их знал, для чего они нужны, она и не натерла. Сейчас жалеет, говорит – наверное, они ценные, не станут же инопланетяне присылать фуфлыжную вещь. С другой стороны, говорит Валентина, Колумб возил индейцам ерунду всякую, бусинки, а они на этих бусинках страшно торчали. Может, эти шарики – это инопланетные бусинки, и генерал, тот, в Совиньоне, получил их тоже от инопланетян за продажу, скажем, нашего военного секрета. Короче говоря, сказала Валентина, надо ждать, чего еще с этим шариком произойдет.

Рыцарь, который является мне в снах, не отвечает на письма. Это расстраивает меня, хотя могло бы и не расстраивать. Сеньора Ольга прислала приглашение во Дворец Умников, где завтра состоится доклад крупного культуролога с Луны, фамилию не разобрала, она была написана невидимыми чернилами, и чтобы сделать надпись видимой глазу, следовало прогладить приглашение утюгом. Электричества как раз не было, да и не очень я люблю лунных культурологов. Поэтому приглашение меня тоже расстроило, да еще я посмотрела по телевизору мультфильм «Варежка» и расстроилась окончательно, и на том месте, где мама с книжкой заходит в комнату и видит, что девочка гладит рукавицу и поит ее молоком из блюдечка, в форточку влез ангел – корма его чуть не застряла в форточке, упитанный ангел, ничего не скажешь – и принялся вытирать мне нос польским бумажным платком с запахом мяты.

В магазине канцтоваров встретила Фауну. Она сказала, что теперь, после победы Хрющенко, пособия по уходу за ребенком до трех лет будут выплачивать только матерям пятерняшек, и то при условии, что все дети будут разнополыми. И откуда, скажи на милость, она берет такие новости? Я, как раз наоборот, слышала, что детям до трех лет в специальных пунктах станут выдавать печенье, полкило в неделю, а старичкам и старушкам – газету «Факты» и сосательные конфетки. Фауна же на это дико хохочет и говорит, что конфетки не конфетки, но кое-что сосательное все мы получим. Она всегда была вульгарна, но время рассудит нас, дорогая Флора.

На этом я прощаюсь, пиши мне.

*Твоя навеки,*

*М.*

## Письмо 13

Уважаемые инопланетяне!

Вы правы, я несколько пристрастна к культурологам. Разумеется, и они на что-то годятся, разве я спорю. То есть, будучи правильно обученными, они способны даже помогать по хозяйству. Но на этот раз вы спросили не о культурологах, так что оставим их. Вы просили описать мои взаимоотношения с телевидением. Эта тема менее скользкая, хотя тоже довольно болезненная.

Я все время смотрю телевизор. А он все время смотрит меня. Мне в этом смысле больше повезло, потому что я могу его выключить или переключить на другой канал. А он меня переключить не может, разве что слегка выключить – ну, я смотрю некоторые новости, например, и иногда от удивления аж выключаюсь. Телевизор мне мстит за такое положение вещей. Он показывает мне черт знает что. Например, фильм о том, как пятеро ужасных вульгарных ненормальных бандитов собираются ограбить ювелирный магазин. Один час тридцать восемь минут с перерывами на рекламу я вынуждена на них смотреть и в конце концов решаю полюбить их, ведь не целиком же они плохие. Ну, родились ненормальными, воспитаны вульгарными, ступили на скользкую дорожку, так в основном это не их вина. И только было мне удастся убедить себя в этом, как их всех до одного убивают полицейские.

Или вот фильм о том, как один маленький мальчик из неблагополучной семьи очень хотел увидеть Папу Римского. И фиг бы с ним, но он хотел при этом непременно быть одет в женское платье. Ну, и в конце ему это удалось. Хеппи-энд, понимаете ли.

Или ток-шоу. Некий вульгарный толстый мужчина, плохо говорящий на всех языках, на которых он думает, что умеет говорить, публично рассказывает женщинам, что им делать с их проблемами. На уровне «Муж изменил? Измени ему в ответ!». И полный зал толстых некрасивых неумных женщин, только что безвкусно причесанных штатным телевизионным стилистом, хлопают, топают и высказывают свое никому не нужное, написанное штатным сценаристом мнение – гнусными природными голосами, с которыми никакой штатный специалист ничего не способен сделать.

На других каналах тем временем идут шедевры мирового кинематографа, перемежаемые изредка самыми горячими и объективными новостями и аналитическими программами, в которых умные элегантные ведущие тактично беседуют с властителями дум. Но это на других каналах – или мой телевизор вовсе их не принимает, или же все упомянутые программы просто сбегают от меня.

Лучшее, на что я могу рассчитывать, – это передачи о животных. Чаще о рептилиях. А я не люблю животных. Рептилий вот, в частности, не люблю. То, что я держу дома игуану, еще ни о чем не говорит. У одной моей подруги вот папа еврей, а мама антисемитка, прекрасно себе живут лет сорок пять, и маме этой не кажется, что это нелогично, хотя евреев за это время она не полюбила. А игуану мне подарила Фауна на позапрошлый мой день рождения, так не выбрасывать же ее. Я и неодушевленный предмет не могу выбросить; раз ребенок моих друзей забыл у меня дома игрушку тамагочи, так я даже ночью просыпалась посмотреть, не подох ли пингвинчик, я ведь не была уверена, что знаю, как с ним обращаться. Утром я отвезла игрушку хозяевам и счастлива была от нее избавиться. С живыми существами еще хуже, а хуже всего – с людьми. Но это я отвлеклась. А телевизор показывает мне, как животные едят друг друга. Рыбы едят рыб, а оставшихся рыб ест кит или там белый медведь. А того ест человек, все в таком роде.

Мультфильмы считаются зрелищем для детей. Видимо, потому, что у детей нервы крепче. Мультфильмы обычно бывают о мутантах, произошедших из людей или животных, о вампирах, привидениях, чудовищах (монстрах) или о животных, сошедших с ума. Самое безобидное, что делают персонажи мультфильмов, – это жестокие шутки друг над другом, наподобие засовывания динамитных шашек друг другу в различные отверстия организма. В остальное время персонажи издают неприличные звуки, ругаются, дерутся и являют этим бесподобные образцы для подражания ученикам младших и средних классов.

Последним моим прибежищем остаются сериалы, телероманы и теленовеллы мелодраматического содержания. Так что последние новости таковы: Палома оставила Диего

перед алтарем и сбежала в Мехико, чтобы работать у Фабиана. Мария дель Кармен вышла замуж за Эрнесто, но она не знает, что он любит Барбару. Елена и Жозе поженятся, но не в ближайшие пять серий – у них там траур, потому что погибла мачеха Элены. Хуан Антонио Веласкес и Педро Руис будут стреляться, победит дружба. Себастьян решил клонировать покойную Терезу, не зная, что у нее осталась сестра-близнец. Отец Бернардо узнал, что его сын – гомосексуалист, и лишил его наследства. Селеста вызвала дух покойной крестной, и как раз на этом кончилась серия. Особенно меня беспокоит Диего, он может наделать глупостей. Каждый раз, как Палома оставляет его без присмотра, он напивается и влипает в историю. Теперь вот она оставила его ради его же блага – но разве ему объяснишь...

На этом я заканчиваю.

До свидания, дорогие инопланетяне.

*Ваша М.*

## Письмо 14

Дорогая Флора!

У меня на кухне происходит нечто чрезвычайно занимательное. Если ты помнишь, на полке, где стоят банки с крупой, я держала шарик, который подарили мне инопланетяне. В последние дни он помутнел, потом вовсе перестал тикать, а потом начал тихонько петь – немного похоже на чайник со свистком, но тише и мелодичнее. Прислушавшись, я даже разобрала вполне определенный мотив. Так он пел два последних дня, и Валентина даже брала его на ночь к себе вместо радио. А вчера вечером он издал громкий шелчок – я как раз была на кухне, набирала воду в лейку. Тут же погас свет. Ты знаешь, что свойство нашего электричества таково, что оно может погаснуть вообще безо всякой причины, поэтому я не удивилась и полезла за свечкой. По причине большой практики я могу нащупать в темноте все что угодно, а уж свечку найти могу совсем легко. Напомню тебе, что свечи у меня лежат именно на той полке, где стоят банки с крупой. И вот, потянувшись за свечой, я нащупала нечто мохнатое, теплое и довольно приятное. Сначала я отдернула руку, но потом, не услышав никаких агрессивных звуков, протянула ее снова. Вообще это мохнатое вызвало мое доверие. Я стала гладить его, и оно протянуло в ответ свою конечность и стало гладить меня по плечам и спине. На ощупь я определила, что существо было большое и, насколько я могла судить, целиком покрытое шерстью. Шерсть длиной и фактурой наводила на мысли об овчарке, но запаха не было, во всяком случае животного запаха, – так, витало вокруг что-то наподобие ванильного аромата, как у автомобильного дезодоранта. Так мы некоторое время гладили друг друга в темноте, а потом существо запело свою странную песню, укачивая меня в своих объятиях. Это понравилось мне, хотя я немного смутилась. Потом существо стало отступать назад, туда, где по моим представлениям был шкаф и куда оно по причине своих больших размеров отступить никак не могло. Так или иначе, оно выпустило меня из объятий и перестало петь. Через несколько секунд – так мне показалось – зажегся свет. Шарик лежал на месте и громко тикал. Прозрачность его полностью восстановилась. От мохнатого существа не осталось никакого следа.

Успокоившись и подумав, я пришла к выводу, что я не уверена в благопристойности произошедшего между мной и мохматым существом. Я даже не имею в виду инопланетных взглядов на приличия – они вообще мне неизвестны. Но прилично ли, с твоей точки зрения, обнимать у себя на кухне неизвестное мохнатое существо, о котором ты не можешь даже сказать, что впервые его видишь – потому что ты его не видишь, – и прилично ли получать от этого удовольствие, не понимая при этом, какой смысл вкладывает существо в свои действия и вкладывает ли вообще? По правде сказать, я не знаю даже, какой смысл был в моих собственных действиях – возможно, никакого.

Следовало бы написать об этом инопланетянам, но я стесняюсь.

На этом прощай, дорогая Флора.

Пиши мне.

*Твоя М.*

## Письмо 15

Здравствуй, прекрасный рыцарь, являющийся мне в снах!

Думаю, использовать почтовых голубей в нашей переписке – это все же неудобно, хотя должна признать, что это очень романтично.

Зима вообще располагает меня к романтическим мыслям. Одиночество как состояние не тяготит меня. Мучает одиночество как чувство.

В прошлом году зимой я часто ходила в маленький ресторанчик в двух кварталах от конторы, где я работаю. Все остальные сотрудники этой конторы ходят обедать в кафе напротив конторы, а я ходила туда, где не было никого из них. Официантов там было двое, они работали через день. Один из них через некоторое время стал мне нравиться – он был маленького роста, черненький и веселый, все время улыбался, шутил, помнил, что я заказывала в прошлый раз, и я даже подумывала, не намекнуть ли ему, чтобы пригласил меня куда-нибудь. Но намекнуть я так и не решилась, и от этого он нравился мне еще сильнее, я много оставляла ему на чай, а он улыбался мне сладко и солнечно, отчего у меня совершенно пропадал аппетит. Я пила кофе и ничего не ела. Ты не подумай, что я на что-то надеялась. Ну что у меня могло получиться с этим маленьким смуглым солнечным официантом, даже если бы он и повел меня куда-то? Он – это одно, а я – это совсем другое. Но я продолжала ходить в тот ресторанчик, иногда и в выходные. Ноги сами вели меня туда, стоило только выйти из дома. Я приходила и в те дни, когда маленький брюнет не работал, и тогда меня обслуживал его напарник, постарше, спокойный, с четкими движениями. В лицо ему я почти не смотрела, запомнила только небольшое брюшко над брючным ремнем – вряд ли парню было больше тридцати, и он только начинал полнеть. И вот, через некоторое время я заметила, что движения этого второго официанта замедляются, когда он подходит к моему столику, и кофейную чашку он ставит с особой тщательностью. Его движения о чем-то говорили, но, занятая мыслями о веселом брюнете, я не сразу обратила на это внимание. Когда я все же увидела, что происходит, то очень удивилась. Второй официант при виде меня был просто не в себе. Однажды я поймала его взгляд – в нем было страдание. В тот раз я постаралась рассмотреть его: обыкновенное лицо, не неприятное, довольно широкое, не красивое и не уродливое. Заметив, что я смотрю на него, он излишне резко отвернулся. Теперь я уже не могла не приходиться в ресторан, все мои мысли были приклеены к нему. Я таранилась на брюнета, второй официант глазел на меня.

Когда-то это должно было закончиться. Маленький веселый брюнет женился, уволился и пошел торговать сантехникой на Староконном рынке. На его место взяли блондинку.

Второй официант подошел ко мне однажды в воскресенье. «Девушка, – сказал он, – как вас зовут?» Я ответила. Он тоже представился. Потом он спросил, свободна ли я в этот вечер. Я сказала, что нет. Он спросил, свободна ли я завтра. Я ответила, что нет. Он сказал, что ему очень жаль. И отошел. Больше он не заговаривал со мной и не смотрел в мою сторону. Я не знала, стоит ли мне самой что-то сказать ему. В те два вечера я действительно была занята, а про следующий он просто не спросил. Да я и не знала, стоит ли идти с ним куда-то. Так что я перестала ходить в тот ресторан, обедала с коллегами в кафе напротив нашей конторы. Потом к нам пришел работать новый системный аналитик, и он стал время от времени провожать меня домой. Из этого тоже ничего не вышло. У меня редко что-то получается, особенно в этой области.

Не знаю, зачем я пишу тебе об этом. Зима, почтовый голубь, все так похоже на открытку к Валентинову дню. Представь себе – серый день, небо в пушистых тучах, в небе над крышами белый голубь несет алое сердечко, и у голубя алая ленточка на шее. По-моему, красиво.

Пиши мне, рыцарь, я жду.

*С нежными чувствами,*

М.

## Письмо 16

Дорогая Флора!

В твоих письмах накопилось некоторое количество вопросов, на которые я все никак не соберусь ответить. Прости. Отчего-то остается меньше времени на письма, должно быть, я расходую его нерационально. Да и меланхолия, ее тоже нельзя не учитывать.

Весной всем нам станет легче, мы бросим писать друг другу письма, станем сидеть вместе в саду или пойдем на край леса и устроим там пикник. Будем кормить Оленя булочкой, а игуана станет резвиться в траве.

А пока к твоим вопросам. Ты спрашивала мое мнение о браках с иностранцами, иноверцами и инопланетянами. Не далее как сегодня рыцарь, носящий мои цвета, сказал, что всякого притягивает противоположное ему. То есть, в частности, рыцарь с необыкновенно большим и горбатым носом может найти любящую душу и взаимность у курносой дамы. Я не вполне с этим согласна. Не думаю, что противоположности сходятся, хотя сходятся и противоположности. Не думаю также, что всякий ищет иного, нежели он сам. Но некоторые ищут. Кто-то, возможно, по недоразумению рожден гражданином нашей страны, а душа его от рождения в Испании, так отчего же ему не выбрать в Испании брачного партнера. Есть и такие, кто родился здешним, но именно что ищет иного и хочет быть с иными, и он, найдя себе пару в выбранной нами для примера Испании, живет там, чувствуя вечно свое отличие от своего испанского супруга и от испанцев вообще. А есть те, кто ничего не ищет, и их судьба сама находит их, нравится им это или нет. И таких, я думаю, большинство. Разумеется, я думаю, что следует все хорошенько взвесить. Ведь неприятно было бы тебе после свадьбы внезапно оказаться запертой в гарем, где томятся уже несколько жен, или узнать вдруг, что после смерти супруга ты должна быть сожжена на его погребальном костре. Нужен максимум информации, дорогая Флора. А то вот знакомая тебе Ингрид, как тебе известно, вышла за инопланетянина, да еще странного такого на вид, и уехала к нему жить. А потом выяснилось, что на его родине в следующем году наступил сезон перехода в другое агрегатное состояние, и все стали газообразными, и Ингрид, бедняжка, тоже, так что писем она теперь не пишет, и остается догадываться, нравится ли ей такая жизнь, да и жива ли она вообще в нашем понимании этого слова. Что же касается иноверцев, говорящих на нашем языке, то это дело вкуса, таково мое мнение.

Еще ты спрашивала, что же самец игуаны, и я отвечаю тебе: он благоденствует, и игуана видимо довольна. Насколько близко теперь их знакомство, мне неизвестно, но они много времени проводят в зимнем саду в обществе друг друга.

Не знаю, что ответить тебе относительно рыцаря, носящего мои цвета. Его намерения для меня пока не ясны. С другой стороны, каковы бы они ни были, у меня пока также нет определенных намерений. Остается ждать развития событий.

На Валентинов день планов я пока не составила. Что собираешься делать ты? Это ведь только кажется, что до него много времени. Получила ли ты какие-то предложения? Фауна, заходившая вчера, сказала, что имеет уже предложения от нескольких кавалеров, но назвать их имена отказалась. Однако она купила уже потрясающее белье, специально для праздника – полуграцию «Триумф», трусики – ну, она сама тебе все покажет, я не сомневаюсь, и чулки, которые особенно мне понравились, черные в золотую полоску, 85 гривен в бутике на Новом базаре.

У Валентины в Валентинов день как раз день рождения. Думаю, что бы ей подарить. Может быть, чайный сервиз? Она хотела такой, с шестигранными блюдцами, белый. Говорит, очень благородно смотрится за эти деньги. Надо пойти посмотреть.

На этом я прощаюсь.

Не забывай меня, дорогая Флора!

*Твоя навеки,*

*М.*

## Письмо 17

Дорогая Флора!

Вот теперь меня все забыли. Даже Ора не приходит – сезон садовой клубники кончился, и клубнику ей теперь покупает в супермаркете некий прекрасный юноша. К сеньоре Ольге явился призрак ее покойного супруга, что-то давно его не было видно, и теперь сеньора при деле – с утра до вечера бранит его, как и при жизни. Рыцарь, носящий мои цвета, ушел в запой. Валентина целыми днями настилает паркет в кабинете Сергея Кивалова, по доллару за квадратный метр, ей вздохнуть некогда; рыцарь, являющийся мне в снах, не является по техническим причинам; игуана выходит замуж, ей не до меня; Оля Берендеева ищет новую квартиру, ей не до меня; Лулу пошла на курсы английского языка, и у нее нет свободного времени. Я даже позвонила Фауне, она всегда готова поболтать, но на этот раз Фауна велела быстро говорить, что мне нужно, потому что трубку возле ее уха держит маникюрша, а сама Фауна сушит ногти.

Вообще-то одиночество – это не так уж плохо. Есть много занятий на случай одиночества – рукоделие, стихосложение, караоке... нет, караоке в одиночестве – это уж хватила, просто тоже дурацкое занятие. Инопланетяне вот прислали мне журнал на русском языке, там есть кулинарные рецепты, выкройки и очерки из истории их инопланетной культуры – ну, такой себе журнал для домохозяек. Некоторые рецепты даже осуществимы в наших условиях, вот, например, энергетические конфеты: инжир, финики, миндаль и грецкие орехи смешать в блендере, скатать такую колбасу, завернуть в пергаментную бумагу или фольгу, подержать в холодильнике, а потом нарезать кружочками. Еще там есть банановый торт, но для него надо яйца взбивать, лень возиться. Остальные рецепты содержат или исчезательный порошок, или вообще ингредиенты, которые нельзя достать. Или вот коктейль – ямайский ром, текила сауза, настойка валерианы и диет-кола в равных долях, подавать с лимоном, это же ни в какие ворота. Инопланетяне присылают много интересного. Кроме зарплаты, они всякий раз присылают неизвестные предметы. Некоторые я оставляю себе, но большинство отдаю Валентине. Так что у нее по квартире летает, например, искусственная пчела, крупная, с воробья, – очень занятная, но утомляет. Шарик, о котором я писала тебе, продолжает тикать, больше пока ничего не делает.

Кроме инопланетных развлечений есть еще зимний сад, о котором неплохо бы позаботиться, есть стирка, посуда не мыта с позавчера, пол не метен.

Еще можно включить все источники звука – телевизор, радио, диск еще какой-нибудь врубить, так, чтобы стало тошно от звуков.

Может быть, хотя бы ты придешь? У меня есть орехи и финики, скатаем эту инопланетную колбасу, черт с ней.

До свидания, дорогая Флора.

Приходи.

*Твоя М.*

## Письмо 18

Дорогие инопланетяне!

Вы просите написать об образовании.

Маленьких детей сначала отправляют в детский сад. Это их социализует. Там они научаются ябедничать и коллективно сидеть на горшках. Потом они учатся в школе. Школа – это такое место, где взрослые люди, не знающие, что делать с собственной жизнью, обучают несовершеннолетних разным вещам, причем теперь – на языке, на котором здесь большинство обучающихся и обучаемых говорить не умеет. Как это возможно, не знаю, но это факт. После школы часть обученных начинает наконец учиться чему-то полезному, вроде

токарного дела или парикмахерского искусства, но другая часть выбирает практически бесполезные занятия, наподобие психологии, философии или журналистики. К чему все это, я в точности не знаю, но некий смысл в этом безусловно есть, хотя пользы и не видно. Большой процент завершивших образование начинает тут же учить других. Принято считать, что они имеют на это право.

Знаете, когда я пытаюсь все это для вас систематизировать, то понимаю еще меньше, чем до того, как начала пытаться. Возникает вопрос, кто тут вообще инопланетянин – вы или я. Собственным образованием в свое время я изрядно пренебрегла, а когда заходит речь об обучении других хоть чему-нибудь, мне сразу хочется пойти повеситься. Я добрая, но в процессе образования своего места не вижу ни на одном из этапов, и это здорово меня раздражает. Лучшая форма обучения, по-моему, – это обучение во сне.

На этом прощаюсь.

*Ваша М.*

## Письмо 19

Здравствуй, рыцарь, являющий мне в снах!

В последнее время я так мало сплю, что ты не смог бы явиться, если даже хотел. Чем я занимаюсь ночью, в точности не могу сказать, но обычно одно из двух – или делаю что-то бесполезное, или пытаюсь уснуть и злобствую на себя. Это два основных моих занятия.

Рыцарь, совершал ли ты ошибки? Такие, чтобы всю жизнь потом мучиться? Думать потом – ну зачем я это сделал, лучше бы вот так или эдак, ах, если б я знал!

И ведь если тебе приходилось совершать фатальные ошибки, то в самый момент совершения их ты не мог не догадываться, к чему это приведет. Хотя бы какая-то часть тебя кричала, ну пусть шептала: нет! не делай этого! Мгновение, одно слово, движение – и все разбито и не подлежит восстановлению. Теперь можно все что угодно, и ты тупо, например, сидишь, уткнувшись в монитор, и не спешишь с работы домой, потому что все разбито, не склеишь и какая теперь разница, дома ты или на работе. Или ты дома и тупо смотришь опять же в монитор, и смысла выходить на улицу нет и не может быть, даже за пивом. Потому что какая теперь разница.

Если ты совершал ошибки, рыцарь, ты поймешь меня. Потому что вчера я совершила роковую, непоправимую ошибку. Я купила паспортистке коробку конфет «Монте-Кристо» за 28 гривен. Мне нужна была ее помощь, и я хотела заручиться ее благорасположением. И в тот момент, когда я отдавала ей конфеты, что-то внутри меня этому противилось. Но я все равно отдала их. А вечером встретила в магазине Фауну, которая между прочим поинтересовалась, решила ли я свою проблему с паспортисткой. Услышав про конфеты «Монте-Кристо», Фауна присвистнула: «Ни фига себе! А меня бы жаба задавила отдавать, они такие вкусные, эти конфеты, у них внутри ликёр». Теперь я не могу перестать думать о конфетах. Когда у меня снова заведутся 28 гривен, я могу купить себе точно такие же конфеты, но это будет уже не то. Уже ничего не исправить, и нет толку думать – ах, отчего я не купила ей конфеты «Люкс» за 7.50, что она в этом понимает, или «Пушкинский платан», сколько бы он ни стоил, меня все равно от одного названия передергивает. И теперь душа моя будет вечно тосковать по коробке конфет «Монте-Кристо» с ликёром внутри. Сколько бы я их ни съела, мне всегда будет казаться, что в той коробке конфеты были вкуснее.

И когда я не сплю и ворочаюсь с боку на бок, призрак конфетной коробки тревожит меня.

На этом прощай, о рыцарь.

Жду вестей от тебя.

*Твоя М.*

## Письмо 20

Дорогая Флора!

О том, о чем ты спрашивала, сказать практически нечего. Рыцарь, носящий мои цвета, по вульгарному выражению Фауны, не мычит и не телится. Между тем мне столько же лет, сколько тебе. Я знаю, что это совершенно не важно. Но меня выводит из себя тот факт, что и он тоже думает, что это не важно.

В остальном все неплохо. Разве что сегодня в парикмахерской мне сказали, что я похожа на Одри Тоту. Во-первых, она гораздо красивее, а во-вторых, она мне не нравится. Да и не хочется мне быть похожей на кого-либо. Интереснее было бы походить на запах, например. Вот я хотела бы быть похожей на запах канифоли. Или на запах виски. Или жареных семечек. Или на запах, черт ее возьми, Одри Тоту – если она, конечно, не пахнет, как кентавр. Рыцарь, носящий мои цвета, однажды сказал, что любит запахи. Так и сказал: «Я вообще люблю запахи. Хорошие. Хотя некоторые плохие тоже».

Сегодня холодно, и я все утро беспокоилась об Олене – как он там, в лесу, не простудился ли. Номера его мобильного я не знаю, пришлось зайти – так и есть, он чихает, и чихание его слышно издали. Он протоптал в снегу тропинки, бродит себе и кашляет. И ничего ведь не сделаешь – ну, чем лечат оленей? Антибиотики ему, наверное, нельзя. Надеюсь, что он сам поправится. Да и должен же у него быть кто-нибудь, ну, там, жена, дети, кто о нем позаботится. Кто я ему такая? Но все равно жалко его.

Во сне сегодня явился рыцарь – тот, что обычно является мне в снах. Образ его смутен, черт лица не различить. На этот раз мы ходили по большому городу, не по Одессе, и район был похож не то на окрестности Киевского вокзала в Москве, не то на железнодорожный вокзал в Киеве. Было темно, я собиралась уезжать, а рыцарь провожал меня, и непонятно было, на время я еду или насовсем. Разговор был не об отъезде моем, а о чем-то отвлеченном.

В реальности беседовать с рыцарем на открытом воздухе я могу разве что в темноте. При температуре ниже плюс четырнадцати у меня краснеет нос. Даже не так – он краснеет еще до того, как температура понизится. А хотелось бы выглядеть если не безупречно, так хотя бы романтично. Поэтому Валентинов день мне лучше провести в теплом помещении, пусть даже в одиночестве.

Не появились ли у тебя планы на этот день? Если да, то непременно напиши о них.

Прости, я должна бежать – только что Хуанчо застрелил Мигеля. И поделом ему, но я хочу видеть его последние минуты. Даже Палома испугалась и прижалась к Диего, а уж на что она бесстрашная. На этой неделе все должно кончиться, но когда последняя серия, я не знаю.

Будь здорова и благополучна.

*Твоя М.*

## Письмо 21

Дорогая Флора!

Я его купила!!

Чашечки маленькие, миллилитров на восемьдесят. Японские. Белые, и не просто белые, а мраморно-перламутрово-белые. И на них что-то такое, вроде как сакура цветет. Черт его знает, как она в действительности цветет, но тот, кто не видел, так это себе и представляет, тем более что японцы-то знают, наверное. А блюдца! Дорогая Флора, они квадратные. Нет, они четырехугольные. Если по правде сказать, они даже ромбовидные. И углы ромба несколько загнуты. Не могу объяснить, но вид у них совершенно невообразимый.

В общем, сервис. Валентина с ума сойдет от радости.

А Валентина сегодня видела сон. Она зашла ко мне позвонить по телефону и рассказала. Ей снилось, что на нас напали инопланетяне. Ей во сне это нападение понравилось. Победившие инопланетяне выстроили планеты в одну шеренгу, и всякий мог в окно наблюдать вблизи кольца Сатурна и прочие достопримечательности, всё в ярких

красках. Она спросила, к чему бы это. Но любой знает, что сон с пятницы на субботу ни к чему, это пустое. Вот с четверга на пятницу – другое дело, или же с воскресенья на понедельник. Да Валентина и сама знает, просто забыла.

Радость от покупки подарка несколько омрачилась расставанием с Паломой. Всё! В последней серии Диего и Фабиан дрались, у Фабиана был пистолет, и он застрелил бы Диего, но Джереми выстрелил раньше и убил Фабиана. В последний момент на мобильный ему позвонила Барбара и сказала, что беременна. Представляешь, в последнюю минуту его жизни! Барбара все же любила его. Она так плакала, когда Палома взяла из руки Фабиана трубку и сказала, что он умер. А как плакал Хуан Франсиско! Ужас. Бернардо сам сдался полиции, сказал, что хочет за все ответить. Анхела пошла к нему в тюрьму.

Потом все поженились.

Диего женился на Паломе, и как раз во время свадьбы пришел конверт с результатами анализов – оказалось, она беременна.

Джереми женился на Диане.

Гарольд женился на Даниэле.

Аурелио женился на этой, как ее, Лусиане, кажется.

Хуан Франсиско женился на Маргарите.

Джанкарло женился на Соледад.

А вот Мариано не женился на Марте, потому что он до смерти будет любить Палому.

Потом прошло семь лет. Все родили детей. Особенно занятные дети получились у Гарольда и Даниэлы, но что же делать, Латинская Америка... В сумме у них у всех получилось восемнадцать или двадцать детей. А Мариано так и не женился. Бабушка Инес жива, кофейные плантации процветают, все разбогатели и все такое.

На этом прощаюсь.

Приходи, звони.

*Вечно твоя,*

*М.*

## Письмо 22

Здравствуй, прекрасный рыцарь, являющийся мне в снах!

Я чувствую странные вещи, даже неприличные.

Я уверена, что ты, как и я, с юных лет знаешь, что прилично любить, а что любить неприлично.

Устав от сознания собственной неуклонной умственной деградации, я взяла почитать приличную книгу. Открыла ее – и вот, пожалуйста: *«Увы, привычные к великолепному шарлатанству метафизического этого престижитатора, мы предпочли недооценивать его суверенную магию, усадившую нас от летаргии пустых дней и ночей»*. И это еще неплохой вариант, уверяю тебя. Герой этой книги хотя бы не спит с собственной матерью. Даже и в мыслях не имеет такого. Хотя кто его знает, я подозрительно отношусь к героям правильных книг. Может быть, он просто не признается. Отца своего он, безусловно, ненавидит, это его он назвал престижитатором. Но если я запомню эту фразу, мне будет о чем поговорить с просвещенным рыцарем в гостях у просвещенной дамы. Я им скажу, что проза этого автора являет собою неуловимые реляции из интуитивного. Они мне вспомнят Кафку. Это потому что автор умер в первой половине двадцатого века. Умер бы во второй – вспомнили бы Керуака. Не умер бы вовсе – они бы сказали, что он является знаковой фигурой. Ой, рыцарь, это ж повеситься можно! Если хочешь прочесть эту приличную книгу – знай, это Бруно Шульц. В переводе Асара Эппеля.

На этом прощай, милый рыцарь. Пойду пить пиво и смотреть сериал про дальнобойщиков.

*Твоя навеки,*

*М.*

## Письмо 23

Бесценная Флора!

Прости меня, умоляю, прости за молчание. Свадьба игуаны отняла столько сил, но ведь она того стоила, ты сама можешь об этом судить. Конечно, немного напортила Фауна со своей обычной бестактностью, но в целом свадьба была великолепна, и я горжусь тем, что приложила руку к ее организации.

Когда молодые отбывали на родину в карете, я даже заплакала. Ах, если бы тут еще не снулась Фауна со своими презервативами...

Но я пишу не с тем, чтобы рассказать тебе то, о чем ты и так знаешь.

Дело в том, что мохнатое существо появилось снова.

Так же, как и в прошлый раз, на кухне погас свет, и я почувствовала его присутствие. Свет зажечь я не пыталась. Существо само нашло меня в темноте и запело свою песню. Пело оно мужским голосом – вернее, голосом, напоминающим голос мужчины. Мы снова гладили друг друга, на этот раз довольно долго, и существо подняло меня на руки, это далось ему, по-видимому, легко. Я поймала себя на мысли, что расстаться с ним мне не хочется, – и случилось так, что я не запомнила момента расставания. Просто вдруг оказалась посреди освещенной кухни, шарик на полке тикал, больше никого рядом не было.

Знаешь, что мне показалось? Что оно делает то, чего я хочу. Если оно появится еще раз, я проверю свое предположение и четко мысленно выражу свое желание. Вот в этот раз он знал – удобнее все же говорить про это существо «он», – что я хочу оказаться у него на руках.

Я хотела бы, чтобы он пришел еще. Мысль о том, что он может прийти, избавляет меня от гнетущего одиночества.

Да, относительно одиночества. Утром Фауна прислала мне с курьерской почтой двух жаб. В записке говорится, что они призваны восполнить собою утрату игуаны, отбывшей с мужем на родину. Твоя сестра рекомендует назвать жаб Флорой и Фауной. Я, подумав, отказалась от этой идеи. Я назову их Вампука и Керуака.

На этом прощай, дорогая Флора, пиши мне.

*Вечно твоя,*

*М.*

## Письмо 24

Уважаемые инопланетяне!

Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?

Первое. Меня интересует возможность иммиграции. Какие планеты в настоящий момент открыты для въезда? Какие требования предъявляются к иммигрантам? Какие существуют ограничения? Какие документы необходимо представить для оформления въезда и каков порядок их представления?

Хотелось бы также узнать о климатических условиях, социальных гарантиях и перспективах обустройства в местах нового проживания.

Второе. Сообщите, пожалуйста, для какой цели используется полупрозрачный шарик, который вы прислали мне в конце декабря, и как следует с ним обращаться.

Заранее спасибо.

*Ваша М.*

## Письмо 25

Здравствуй, о рыцарь, являющийся мне в снах!

Есть ли у тебя внутренний собеседник?

Так называется человек, существующий или не существующий в реальности, к которому ты мысленно обращаешься. Он может отвечать или не отвечать тебе, и в результате у тебя получается внутренний диалог или внутренний монолог. При этом совершенно необязательно, что реальный человек и он же внутренний одинаково ответят на один и тот же вопрос.

В моей жизни было несколько внутренних собеседников.

Сначала моим внутренним собеседником был мой отец.

Потом им была моя лучшая подруга, причем она была им и тогда, когда мы были в ссоре.

Потом им был Окуджава.

Потом им был один немолодой волшебник.

Потом им был один рыцарь, с которым я была помолвлена в течение года.

Потом моим внутренним собеседником надолго стал один благородный рыцарь, с которым я теперь иногда мысленно перезваниваюсь.

Потом им был один непризнанный поэт, с которым мы теперь в реальности иногда пьем пиво.

Потом им была одна благородная дама, которая в реальности работает психологом в городе Москве и вряд ли помнит, кто я такая.

В то же самое время моим внутренним собеседником был рыцарь по имени Герман.

Потом ты приснился мне, и с тех пор я мысленно разговариваю в основном с тобой. И даже пишу тебе письма, как видишь.

Но иногда я мысленно адресуюсь и к другим людям. И мне хотелось бы, чтобы они меня слышали. Не знаю, возможно ли это.

Прощай, рыцарь, пиши мне.

*Твоя М.*

## Письмо 26

Дорогая Флора!

У меня совсем испортилось настроение. Тому есть много причин, и они столь неприятны для меня, что даже Фауна среди них не на первом месте.

Во-первых, одна жаба сдохла. Поскольку я так и не запомнила, кто из них кто, будем считать, что сдохла Вампука, а осталась в живых Керуака. Вот и думай теперь, как это скажется на самочувствии оставшейся жабы, все же стресс. Конечно, смерть – как это у жаб называется? – приятельницы, скажем, есть сама по себе несчастье, но к тому же вдруг оставшаяся жаба уже считала себя Вампукой? А я теперь зову ее именем, которое она ассоциирует с образом умершей? Не приведет ли это к психической травме? Надо заказать какую-нибудь книжку по психологии рептилий; не посоветуешь ли ты чего? Хотя бы сообщи, считаются ли жабы рептилиями.

Во-вторых, совершенно пропал рыцарь, являющийся мне в снах. Во сне, правда, он мне как раз явился, буквально с пятницы на субботу, дело происходило в мотеле, видимо в Техасе, но дальнейшее пересказать я затрудняюсь – слишком личное. Но это во сне, а писем он не пишет – должно быть, обиделся на что-то.

В-третьих, было это самое восьмое марта. Ты знаешь, я обожаю подарки, и две твои кофейные пары были как нельзя более кстати, но в целом этот день наводит меня на грустные размышления. В этот день мне хочется жалеть себя. Мне хочется сидеть, поджав ноги, на широком подоконнике и смотреть в окно – непременно в узком черном платье, и курить душистую папироску в дли-и-инном черном с золотом мундштуке, и это не важно, что я не курю. Хочется сидеть на подоконнике с такой прической, как у Лили Брик, пить кофе из ма-а-аленькой чашечки и не знать никогда ни про какое восьмое марта, а заодно и про хозяйственное мыло, сосиски в целлофане, собесы, районо и прочие предметы, список ты можешь продолжить. Валентина со мной не согласна, но с самого девятого числа я не

видела даже ее слабых контуров. Что-то чересчур она полюбила исчезательный порошок в последнее время.

В-четвертых, весна не наступила. Фауна говорит, что своими глазами читала (очевидно, на воротах *Свердловки*) указ городского головы насчет того, что весна на Юге Украины не будет допущена до тех пор, пока Хрющенко не прекратит реприватизацию. Трамваи не ходят, повсюду лежит снег, жители передвигаются на лыжах и собачьих упряжках – да ты и сама можешь выглянуть в окно и увидеть это. Сеньора Ольга говорит, что это возмездие здешним жителям за долговременный разврат – температура ниже нуля, чтобы и мыслей не возникало о коротких юбочках и высоких каблуках.

Ничто не меняется – кроме сюжетов сновидений, которые не подвластны ни нам, ни городскому голове.

Прощай, милая Флора. Позвони мне, поиграем в города.

*Вечно твоя, М.*

## Письмо 27

Уважаемые инопланетяне!

Обращаюсь с этим вопросом к вам, потому что все остальные решили бы, что я с ума сошла, если бы я затруднила их таким вопросом.

Дело в том, что в моей спальне беспорядок. Там редко бывает кто-либо, кроме меня, и поэтому там беспорядок. И в кресле около кровати лежит разнообразная одежда. Там же лежит белье. В частности, бюстгалтеры. Все нет времени разложить их – которые в стирку, которые в шкаф.

Некоторое время назад я заметила, что бюстгалтеры никогда не находятся на том месте, где я оставляю их. Даже если они изначально лежат так, что не могут упасть. При этом я могу поклясться, что ни сквозняк, ни человек или иное существо не могли воздействовать на них так, чтобы они упали. Я стала находить их на полу – иногда торчащими из-под шкафа, иногда под столом или на полпути к двери. Создавалось впечатление, что они *расползаются*. Я никогда не отнеслась бы к этой мысли серьезно, если бы сегодня после обеда, войдя в спальню и приподняв салфетку на столике в поисках телефонной квитанции, я не обнаружила салатного цвета кружевной лифчик, который *уползал* от меня под стул. Полз он, перебирая чашечками, как гусеница, и за ним волочилась по полу отстегнувшаяся бретелька.

Дорогие инопланетяне, не знаете ли вы, чем может быть вызвано столь странное поведение предметов нижнего белья? И не могут ли быть агрессивными такие лифчики? Чего от них ждать и может ли это прекратиться?

Остаюсь в ожидании скорого ответа,

*искренне ваша,*

*М.*

## Письмо 28

Здравствуй, о рыцарь, являющийся мне в снах!

Спасибо за визит. Все это, конечно, несколько неожиданно для меня – я как-то не так представляла себе дальнейшее развитие наших отношений, но это, в конце концов, всего лишь сон. Он был мне приятен, если хочешь знать.

На самом деле интимная жизнь во сне – это еще не самый причудливый вариант личной жизни.

Ну, вот сеньора Ольга даже не представляет в полной мере, жив ли ее супруг, и то, что он в действительности давно умер, ей нисколько не мешает. Но сеньора Ольга вряд ли знает, жива ли она сама и на каком она свете.

Еще одна благородная дама сожительствует с духом давно умершего иностранного

поэта. Это как раз весьма разумно – он развлекает ее разговорами, расширяет ее кругозор, не пьет, не изменяет ей и не ругает еду, которую она приготовила. Но мертвых поэтов хватает не всем, так что некоторые пытаются жить с живыми.

Моя подруга Лулу очень любит поэтов, художников и музыкантов. Только на моей памяти она дарила свое благорасположение поэту Б., уехавшему впоследствии в Тибет лечиться от запойного пьянства, художнику Б., который был как раз совсем ничего, когда трезвый, затем джазмену Б. (это я не нарочно, все их фамилии действительно начинались с этой буквы), злоупотреблявшему марихуаной...

За этим последовал короткий роман с итальянским режиссером по имени Данте, который собрался снимать Лулу в своем новом фильме, но потом одолжил денег у всех ее знакомых и навеки уехал в свою Италию. Потом она полюбила мецената С., который оставил ее ради юной балерины, потом она ненадолго вышла замуж за художника Д., наркомана и психопата, после чего ее подобрал поэт Осоловьяненко.

С поэтом Осоловьяненко все было совсем плохо – он не жил с женой. Знаешь, рыцарь, есть такая тяжелая разновидность женатых творческих личностей – с женами они давно не живут, а не разводятся ради детей, да и пропадет она без них, жена. Супруга поэта Осоловьяненко, например, совершенно пропала бы, если бы поэт куда-то подевался. Ей сразу стало бы некого кормить и одевать, а также похмелять по утрам, и она бы тут же умерла от разрыва сердца и острой поэтной недостаточности. Зная это, поэт Осоловьяненко даже на работу не устраивался, чтобы доставить жене невинное удовольствие содержать его. Но с женой он при этом нисколько не жил, так уверял он мою подругу Лулу.

На поэта ушло полгода, а затем появился художник Ю., от которого жена сбежала аж в Красноярск. Художник Ю. не работал, разумеется, зато он не пил и умел починять унитазы лучше любого культуролога. А вот теперь, едва Лулу пришла в себя после художника Ю., объявился композитор из Перми. Он не живет с женой, которая вот уже двадцать лет как уснула летаргическим сном, но не может оставить ее, беспомощную, а также детей, разумеется, от двух предыдущих браков. Композитор недурен собой и живет тем, что возит из нашего города в Пермь автомобильные запчасти. Он посвятил Лулу оперу – или симфонию, я точно не помню. Возможно также, что и ораторию. Я сама видела партитуру, там так и написано: «Моей Мими!», потом «Мими» зачеркнуто и написано «Лулу».

Такие дела, дорогой рыцарь. Жизнь такова, что хочешь – стой, а не хочешь стоять – падай. Куда там моим невинным сновидениям до причудливых и прихотливых узоров настоящей жизни...

Прощай, рыцарь, пиши мне.

*Твоя М.*

## Письмо 29

Снова здравствуй, дорогой рыцарь!

Хочу сказать тебе, что бесполезно искать в этой жизни логику и даже закономерность. Куда бы ты ни стремился, попадаешь всегда в другое место. Более того, единственный способ попасть хоть куда-нибудь – это не стремиться попасть никуда. Всякий хочет знать, как найти счастье – ну или любовь как одну из его разновидностей. Вот один из способов.

Представь, что ты выходишь на улицу и идешь в любом направлении. По дороге ты встречаешь девушек, которые уговаривают тебя принять участие в рекламной акции. Дай себя уговорить и прими участие. Потом зайди в тот ресторан, реклама которого ярче и музыка из которого громче. Закажи блюдо дня. У выхода тетка продает цветочки – купи. Смотри на архитектурные памятники, мусор бросай в урны, со всеми встречными соглашайся, всем говори спасибо. Если куришь, купи еще сигареты – именно той марки, которая первая придет на память. Подчинись течению жизни, не сопротивляйся. Увидишь троллейбус – садись и поезжай. Не ищи ничего, ни о чем не спрашивай, руки держи в карманах или где ты привык. И тогда, если ты хочешь счастья – или любви как одной из его

разновидностей, – ты его получишь. Потому что оно уже у тебя внутри, милый рыцарь. А если ты его не получишь все же – задумайся, так ли оно было необходимо. В конце концов, просто прогуляться тоже никогда не вредно. Если ты не найдешь счастья, купи семечек или пива, или мороженого.

Дорогой рыцарь, сделай, пожалуйста, все, что я перечислила здесь, и когда сделаешь, сообщи мне, что получится в итоге.

На этом прощаюсь и остаюсь

*навек твою,*

*М.*

### Письмо 30

Уважаемые инопланетяне!

Конечно, я понимаю, что сетования мои бессмысленны. Ну что с того, что я скажу, что не люблю, допустим, велосипедистов или нанайцев, или же белых мужчин от 25 до 27 лет ростом не ниже 178 сантиметров? Нанайцев мало, но я все равно не знакома со всеми нанайцами – да я ни с одним нанайцем, по правде сказать, не знакома. Велосипедистом может стать любой, а высоких белых мужчин очень много – нет сомнения, что хоть один покажется мне вполне терпимым. То есть я знаю, знаю, что осуждать огульно целую категорию населения глупо, грубо и не имеет смысла.

Однако же я не люблю культурологов. Мало того что ни один из известных мне культурологов мне не нравится. Мало того. Я свято уверена, что ни один представитель этой братии никак не может мне понравиться. Я не люблю их, не уважаю и убеждена в бессмысленности их существования. Ну разве что из них потом образуется перегной.

И от этой точки зрения я никак не готова отказаться.

С этим остаюсь

*искренне ваша,*

*М.*

### Письмо 31

Дорогая Флора!

Вчера мы разговаривали с Валентиной. Она сказала:

– Да, вот именно, ты права. Вся моя жизнь – это одно сплошное впечатление.

Потом она сказала:

– Мне все время снятся сны. Вот мне снится, что я на таком белом чердаке, много места, много неба и кругом так много доброты...

Еще она сказала:

– Мне очень плохо. Я чувствую, что с близким человеком что-то произошло. Может быть, я его не знаю, но он мне близкий человек.

Я думаю, что Валентина – не здешний человек. Мне не верится, что она такая же, как люди на улице.

Иногда мне тоже плохо. Тогда я думаю, что все неправда. О Флора, тогда я думаю, что зимнего сада нет. И нет моей забавной неприбранной спальни. Тогда я думаю, что все, что я вижу, мне снится, а то, что я думаю, что мне снится, – даже и не снится мне, а я просто это придумала, как вульгарная лгунья. Тогда я думаю, что нет моего тикающего шарика и нет исчезательного порошка, и нет игуаны, а ее и в самом деле нет, какая жалость. И нет тебя, милая Флора, тебя, которая все понимает и встает в половине второго, такая разумная и уравновешенная, какой только может быть молодая дама, проснувшаяся в половине второго пополудни. И нет Фауны – или Фауна есть, и это именно я. Тогда я думаю, что Валентина – просто оригинальная женщина, слегка опустившаяся на почве систематического пьянства. Тогда я думаю, что рыцарь, носящий мои цвета, – просто сисадмин, который годами ходит

ко мне ночевать, а жениться не собирается. И Оли Берендеевой нет, она просто моя мечта об ангеле, который приходит, когда без него нельзя. Инопланетян не бывает. Ангелов тоже не бывает. Это просто частный случай эскапизма в тяжелой форме. Бывает отдел труда и социальной защиты населения, бывают фильмы про киллеров, бывают культурологи, бывают выборы, президентские и парламентские, и жабы тоже бывают – много, много жаб.

Но минуты слабости сменяются длительными периодами хорошего настроения. Я ни о чем не думаю, навещаю в лесу Оленя, смотрю по телевизору смешной сериал про няньку, потом смешной сериал про двух незадачливых афроамериканцев, потом смешной сериал про добрых русских милиционеров, а потом приходит Валентина за соленым огурцом, а потом звонит Фауна, а потом приходит Лулу, а потом звонит и приходит Ора. И я думаю, что нет никакой разницы, существует все это или нет.

Приходи, дорогая Флора. Сеньора Ольга подбросила мне недорогие туфли на лето, с закрытыми носками, как ты любишь, а сзади открытые, практически босоножки, черные с белым кожаным ремешком. Размер твой, но если ты не возьмешь, я подумаю, не оставить ли себе.

На этом прощаюсь.

*Твоя навеки,*

*М.*

## Письмо 32

Здравствуй, рыцарь, являющийся мне в снах!

Сегодня я глубоко задумалась над пустяковым, казалось бы, вопросом.

У меня вообще-то чертова прорва белья. Но есть два любимых лифчика. Один ужасно красивый сам по себе, наполовину прозрачно-кружевной и не телесного цвета, и не гадкого розового, и не чуть менее гадкого бледно-розового, а совершенно шикарного и редкого абрикосового цвета. А второй – темно-синий, атласный, на косточках и поролоне. На вид он довольно скромный, но очень выгодно подчеркивает все достоинства груди, а в некоторых местах он эти достоинства даже создает, скрывая при этом ее недостатки. Кроме того, под одеждой он создает иллюзию просто красивой груди и отсутствия бюстгалтера как такового. И вот я не знаю, который из них выбрать для особого случая.

Дело в том, что мне предстоит свидание вслепую. Меня обещали познакомить с совершенно потрясающим мужчиной. Судя по фотографии, он очень хорош собой. Менеджер в приличной фирме, претендует на финдиректора, и шансы его высоки – так мне сказали.

С одной стороны, для первого свидания хорош лифчик № 2. Потому что рассматривать он меня будет все же в одетом виде. Мы идем в ресторан, потом поедем в клуб слушать какую-то группу из Петербурга, забыла название. С другой стороны, мало ли как дело может повернуться – ресторан, клуб, мартини... и тут-то лифчик № 1 был бы кстати.

По правде говоря, я боюсь. Оба этих лифчика не такие уж дорогие. И не в этом даже дело. Не то чтобы я боялась ему не понравиться. Хотя конечно да, боюсь и этого, но не в том дело, рыцарь. А дело на самом деле в том, что я знаю: я не понравлюсь ему. Или понравлюсь, но не так, как мне хотелось бы нравиться *тому самому человеку*. Да он и не *тот человек*, вот оно как. *Тот* не может быть финдиректором. Или композитором. Или культурологом. Не знаю, кем он может быть. Возможно, призраком или инопланетянином.

К тому же сегодня мне приснился боксер Коля Бздю. Не знаешь ли ты, рыцарь, к чему это?

На этом прощаюсь.

Пиши мне.

*Твоя М.*

## Письмо 33

Уважаемые инопланетяне!  
Перед вами мой отчет о прогулке по берегу моря.

На морском берегу мною были обнаружены:  
раковины мидий;  
дохлая утка;  
много пластмассовых деталей от утонувших непластмассовых предметов;  
дохлая лягушка;  
рыбак в процессе деятельности, позволяющей называть его рыбаком;  
няня детей Роберта и Даниила;  
сами дети Роберт и Даниил, соответственно четырех и двух лет;  
обточенный морем кусок мелкой фаянсовой тарелки с надписью «Совмортр...» ;  
ручка от ведра;  
дерево (с корнями, изначально сухое, но впоследствии мокрое);  
птица трясогузка, живая, трясающая чем положено;  
строители с базы отдыха «Солнечная», двое, трезвые;  
сама база отдыха «Солнечная», дорогая, нездешнего вида.

Чего там не было, так это скамеек; ноги проваливались в песок, я быстро устала, поэтому больше ничего не встретила – повернула назад. На обратном пути мне снова встретились:

база «Солнечная» и приписанные к ней трезвые строители;  
бывшее сухое, ныне мокрое дерево;  
ручка от ведра;  
кусочек морской тарелки;  
рыбак в процессе рыбалки;  
дохлая лягушка, царствие ей небесное;  
много мусора;  
дохлая утка, да будет ей песок пухом или чем там ей больше понравится;  
раковины мидий;  
дети Роберт и Даниил с няней.

Каждый из мальчиков вел впереди себя на поводке по плезиозавру средних размеров. Няня объяснила, что отец Роберта и Даниила, банкир Сабанский, в честь которого еще назван Сабанский переулок, заказал клонировать этих ящеров в подарок детям – из образцов ДНК, выкопанных учеными там, где они обычно их выкапывают, в японской лаборатории вывели зверей и доставили специальным самолетом в Одессу. Ящеры нарочно куплены разнополюе, к ним приставлен специальный как бы конюх, или как его назвать – выпускник биофака Одесского Национального Университета, большой знаток и любитель плезиозавров. Если звери размножатся, это даст новые возможности для развития бизнеса, сказала няня. Появится спрос на их модельную стрижку, тримминг, передержку, вязку и всякую селекцию, так что обслуживать ящеров в одной только Одессе будут человек двести специалистов, да еще кто-то будет этих специалистов обучать на курсах. Все это рабочие места, что уже само по себе есть отрядный факт. «Опять же, – понизив голос, сказала няня, – хоть ящерицы эти и глупые, но ухода особого не требуют и не воняют – любят только, чтобы было тепло. Вот я раньше смотрела ребенка у одних хозяев, так там было *мастино неаполитано* – вот уж не приведи господи...»

Больше ничего интересного мне по дороге не попало.

На этом я прощаюсь.

Спасибо за внимание.

*Ваша М.*

Здравствуй, дорогой рыцарь, являющийся мне в снах!

Я только что вернулась в город, проведя две недели за городом на берегу моря.

Дня четыре я спала, остальные десять дней бродила по пустынному пляжу – когда одна, а когда в сопровождении рыцаря, носящего мои цвета.

Представляешь, в пасмурный день мы идем на морской берег вдвоем. В солнечный день мы не пошли на морской берег, потому что у него не было времени. А теперь день пасмурный, половина третьего и даже дождь накрапывает, самое время идти.

Мы идем без всякой цели – вернее, с целью погулять. Я иду медленно, руки в карманах; он идет быстрее, все время чуть впереди. Нашел кусок пемзы и говорит: *«Пемза. Вулканическая порода»*. Нашел много кусков пемзы, несет с собой. Нашел маленькую, с мой мизинец, отвертку, спрятал в карман. Говорит: *«Много полезных вещей»*. Нашел ручку от ведра, говорит: *«Она хорошо летает»*. И ручка летит далеко вперед, вдоль линии прибоя. Потом он видит что-то в песке и кричит: *«Смотри, это орлы!»* Какие, на хрен, там могут быть орлы? Я говорю: *«Какие такие орлы?»* – и он объясняет. *«В школе, – говорит он, – в младших классах, да и потом тоже, мы играли в орлов. Вот эти ракушки называются «орлы». У которых линии вдоль. А у которых поперек, называются «лисички»*. Он подробно рассказывает мне, как надо играть и какой орел побеждает... Он набирает полный карман орлов – не всяких, а толстых, непробиваемых победительных орлов. *«Милый! – говорю я. – Куда тебе столько орлов?» «Мы будем играть»*, – говорит он.

Интересно, отчего я более всего люблю его именно в такие моменты – когда он занимается фигней. И не потому ли он использует всякую свободную секунду, чтобы заняться фигней?

У моря хорошо. Мне у моря хорошо во все времена, кроме лета.

## Письмо 35

Дорогая Флора!

Я счастлива вновь обратиться к тебе. Вообще я соскучилась по тебе, по Фауне, по всем.

Конечно, две недели у моря – это была гениальная идея. Но после этого в городе практически невозможно дышать. Иногда идет дождь, он стучит по крыше зимнего сада, и хочется выйти, но я не выхожу все же и тут же жалею об этом, а потом дождь кончается.

Пребывание за городом имело результатом следующее: рыцарь, носящий мои цвета, доставив меня домой, не остался даже выпить кофе, но заявил, что нам надо непременно *поговорить серьезно*. Сейчас-де он не имеет времени, но в ближайшее время...

Думаешь ли ты, что это будет *предложение* ?

Еще, вернувшись, я обнаружила в почтовом ящике письмо от инопланетян. Чтобы не пересказывать, отправляю тебе ксерокс.

*«Дорогая М.,*

*касательно вашего запроса относительно назначения полупрозрачного шарика, как следует из ваших слов, подаренного вам нами, мнения членов комиссии разошлись. Некоторые считают, что произошла ошибка и в действительности упомянутый шарик происходит из другого источника. Другие же предлагают отправить упомянутый шарик нам для идентификации.*

*С уважением,*

*Инопланетяне».*

Как ты думаешь, что мне им ответить? Отослать им шарик я не могу – вдруг они его вскроют с научной целью и это ему повредит?

Да, забыла сказать. Сразу после моего возвращения, ночью, мохнатое существо снова приходило.

По правде сказать, я не забыла написать тебе об этом. На самом деле я не хотела о нем упоминать, наши отношения в последнее время стали настолько личными, что писать о них

подробно я стесняюсь. Мне сложно сказать, как я отношусь к этому, и я опасаясь давать отчет даже самой себе. Прости меня, милая Флора, я ведь всегда рассказывала тебе все, ты так достойна доверия и рассудительна... Если рыцарь, носящий мои цвета, и в самом деле предложит мне то, что давно должен был предложить, и если я соглашусь (а как же я могу отказаться?) – как же тогда быть с мохнатым существом?

Как ты понимаешь, я терзаюсь сомнениями.

Напиши, что ты думаешь обо всем об этом.

*Навеки твоя,*

*М.*

## Письмо 36

Уважаемые инопланетяне!

Нет, последнюю серию «Раузана» еще не показывали, а «Клон» я не смотрю. Себастьян де Мендоса женился черт знает на ком, а Соледад де Сантино ищет свою дочь. К ней там сватается какой-то тип, но он не знает, что у нее была дочь от Себастьяна. Честно вам сказать, я бы с этим Себастьяном вообще не связывалась, он псих натуральный.

А если вы «Клона» не очень много пропустили, спросите лучше у Валентины, она его иногда смотрит.

Теперь к делу. Вы просили написать вам, что я думаю о любви. Ну, вот.

Любовь, дорогие инопланетяне, – это все-таки не взаимное совершенствование, что бы там ни говорили. Это не то совсем. Вот говорят, что любимое существо побуждает становиться лучше. И вот уважение еще необходимо, говорят. Ага, а еще говорят, что если любишь, то все буквально простишь любимому человеку – ну или кто у вас там. Это все, я думаю, фигня. И еще, я думаю, полная ерунда, что когда смотришь на любимого – все забываешь. И когда через шестьдесят лет брака любишь как в первый день – это тоже бред. Любовь с первого взгляда, я полагаю, чушь. Но с другой стороны, неправда и то, что для счастья в совместной жизни необходимо сначала узнать человека получше.

Видела я любовь, которая портит, и любовь, которая разрушает. Еще видела, как мужчина и женщина, созданные друг для друга, на четвертом году брака поссорились из-за ерунды и расстались, и за всю дальнейшую жизнь не разлюбили друг друга и не простили. И еще видела, как люди любят кого-то недостойного внимания и уважения. И когда любят, но изменяют. И когда не любят, но не расстаются. И когда разочаровываются друг в друге, хотя еще в детстве вместе пекли куличики в песочнице.

Говорят, что брак разрушает любовь. Говорят также, что он ее укрепляет. И то и другое – ложь. То же говорят о детях, и это тоже ложь. Еще ложь то, что любовь одна для всех и что существуют разные виды любви.

Настоящая любовь – это... это я не знаю, что такое. Ну разве что вот любовь Соледад де Сантино к ее потерянной дочери: неизвестно, как ее зовут, где она, какова она и есть ли она вообще, эта дочь, но любовь Соледад несомненна, безудержна, неостановима и непредсказуема в своих последствиях.

Ну, что еще? Многие говорят, что любви нет вообще. Я думаю, что врут.

Будьте здоровы, дорогие инопланетяне.

Люблю, целую.

*М.*

## Письмо 37

Здравствуй, о рыцарь, являющийся мне в снах!

Что-то все время мучает меня. Я не нахожу себе места, но не просто так, а в безусловном предчувствии перемен. Чтоб мне провалиться, милый рыцарь, я знаю, что очень скоро в моей жизни что-то изменится – я боюсь этого и потому говорю «что-то» там, где

следует сказать «всё», но я знаю это твердо и потому не могу отрицать вовсе.

Но пока ничего не меняется, ожидание становится все напряженнее, мне плохо, я тоскую, и ничто не может помочь мне. Сажусь написать письмо, тут же встаю, тут же опять сажусь, пишу ничего не значащие слова, удаляю их, снова пишу те или другие слова. Лучше любая судьба, о рыцарь, чем судьба человека, пишущего письма. Лучше бы мне полюбить артиста, переодетого женщиной, лучше бы мне не уметь читать и писать, лучше бы мне не родиться на свет, чем писать теперь письма, некоторые отправлять и ждать ответа. Но и в письмах не то, и ответа нет, а когда он и есть, так в нем не то и не теми словами.

Но не все так плохо. Драгоценная Флора, прослышав о моем тяжком состоянии, прислала мне большой пакет. В сильном волнении распечатав его, я обнаружила внутри крупных размеров ананас, большой очень оранжевый апельсин, инопланетную открытку, бутылку армянского коньяку, хитрые заграничные благовония и глиняную свистульку в виде птички. Так что теперь, рыцарь, я пишу тебе, а рядом с клавиатурой у меня стоит бокал с коньяком. Запивать кружочки ананасов таким чудным коньяком все же не так грустно, как просто писать безответные письма.

Будь благополучен, о прекрасный рыцарь.

Не забывай меня.

*Твоя М.*

### Письмо 38

Дорогая Флора!

Оказывается, все кончено. Я и в самом деле не знала об этом, а оказывается, все кончено. Вот оно как, милая Флора.

Сегодня вечером я час мочла в ванне с розовой водой, полтора часа выбирала белье и час выбирала платье. Потом я нарезала сыр, открыла вино, надушилась дорожными духами от Лакруа, которые ты подарила мне на день рождения, и, стыдно сказать, зажгла свечи. Мне в особенности стыдно рассказывать об этом именно тебе, потому что ты знала, чем все закончится, еще до того, как оно началось.

Рыцарь, носящий мои цвета, пришел в половине одиннадцатого, без цветов. Хотя я приготовила для них вазу – разве что не поставила ее на стол, но место на столе для нее было, как раз между подсвечником и тарелкой с сыром. Увидев свечи и бутылку вина, рыцарь несколько смутился. Мы выпили вина, но я уже знала, что здесь что-то не так.

Дорогая Флора, я и не подозревала, что все так обернется. Зря ты не сказала мне об этом сразу. Я знаю, что со временем все устаканится и утрясется, но теперь уже ты не сможешь утешить меня, как всегда бывало. И ничего больше не будет так, как бывало раньше.

Сейчас я плачу не о том, что потеряла рыцаря, носящего мои цвета. Возможно, и в самом деле твои цвета подойдут ему больше, да к тому же ты и в самом деле безупречна и достойна всяческих похвал. Я плачу просто о том, что вот я плачу, и некому утешить меня, потому что у меня больше нет тебя.

Прощай, дорогая Флора, будь счастлива.

Керуака кланяется тебе.

*Вечно твоя,*

*М.*

### Письмо 39

Уважаемые инопланетяне!

Честно вам сказать, я удивлена. Как вы можете определять такие вещи на расстоянии?.. Хотя как раз вы, наверное, можете. Что вы использовали, образец слюны на конверте?

И что же мне, в таком случае, делать? Вы пишете, что гражданки, беременные от

инопланетян, получают приоритетное право на инопланетное гражданство. Я вообще-то еще не уверена, что оно мне понадобится, но все равно спасибо.

Очень жаль, что, как вы говорите, инопланетные наблюдатели, нарушившие должностную инструкцию, должны быть в двадцать четыре часа отозваны на родину. Это значит, что я остаюсь теперь и без мохнатого существа. Я, конечно, все равно не знала, что с ним делать, но ведь больше у меня никого нет, только мохнатое существо и Валентина.

Чувствую я себя нормально, спасибо за заботу. Пока что мне ничего не нужно, деньги у меня есть, но, пожалуй, следовало бы пойти к врачу и встать на учет. Как вы думаете, стоит ли сказать, что отец моего будущего ребенка – инопланетянин, или все же лучше не говорить? И вот еще – возможно, вы знаете какие-то особенности. Может, инопланетятам во время внутриутробного развития нужно больше кальция или там магния, или еще чего-нибудь. Таблетки, которые вы прислали, как я поняла, это что-то вроде ваших витаминов, и я принимаю их уже неделю. Стали сильно потеть уши, но это ерунда, разумеется.

Полагаются ли на других планетах какие-то льготы матерям-одиночкам? Если это удобно, пришлите какие-нибудь брошюры об этом, и вообще пришлите литературы по теме.

Остаюсь в некоторой растерянности,  
*ваша М.*

### Письмо 40

Здравствуй, Мохнатое Существо!

Твое предложение было для меня неожиданностью, но я согласна принять его. Пока я не понимаю, к чему это приведет, но, в конце концов, у нас будет общий ребенок, и это довольно-таки серьезный повод пожениться. Кроме того, я с детства мечтала жить на другой планете.

Буду ждать тебя в Одесском аэропорту в будущий понедельник. Багажа у меня немного.

С нетерпением жду встречи.  
*Твоя М.*

### Письмо 41

Здравствуй, рыцарь, являющийся мне в снах!

Пишу тебе второпях. Дело в том, что я выхожу замуж и уезжаю. Вернее, улетаю и выхожу замуж.

Такси уже заказано, я простилась со всеми.

Валентина обняла меня и всхлипнула.

– Правильно, – сказала она, – там тебе будет лучше. Меня тоже один еврей звал замуж еще в семьдесят втором году – однокурсник, Аркадием его звали. Поженимся, говорил, и поедем в Израиль; я тебя никогда не обижу... И не курил, пил мало, на аккордеоне играл. Я его не любила, вот и не пошла. А надо было. Но ты же знаешь, мы же тогда росли такие советские люди, какой Израиль, ты что!

Сеньора Ольга просила писать. Моя подруга Лулу спросила, есть ли у меня пальто на осень. Я вовсе не знаю, какой там климат, но мне сказали, что это безразлично, на месте меня обеспечат всем необходимым.

Оля Берендеева принесла шварцвальдский торт, и мы долго пили чай.

Ора позвонила и сказала, что занята, прийти не может, но желает мне счастливой дороги.

Фауна пришла проводить меня с ворохом распашонок и маленьких пинеточек. На вопрос, зачем столько одинаковых носочков, она закатила глаза и сказала:

– А откуда ты знаешь, сколько у него будет ног?

В пакете, который она, уходя, положила на стол, оказалась голубая плюшевая собачка. Мне будет очень не хватать Фауны.

Олень не вышел проститься со мной, когда я приходила в лес повидать его.

Флора не позвонила.

Керуака едет со мной, и я беспокоюсь, подойдет ли ей тамошний климат.

Милый рыцарь, мое письмо – как разговор на вокзале, когда провожающих уже вот-вот попросят покинуть вагон и непонятно, о чем говорить, и не говорить нельзя, потому что предстоит разлука. Мне кажется, что я не вернусь. Ты, однако же, пиши мне, и я тебе отвечу.

Напоследок просьба. Не сочти за труд, посмотри несколько серий «Раузана» и сообщи мне, что там произойдет, пока я буду лететь. Когда я устроюсь на новом месте, проведу себе кабельное телевидение и буду смотреть дальше. Меня особенно беспокоит эта мистическая история с духом покойного мужа Эсмеральды, который вселился в тело Себастьяна де Мендосы. По правде говоря, я не люблю мистических историй. Гораздо лучше, когда все просто и понятно.

Прощай, дорогой рыцарь.

С надеждой на лучшее,

*вечно твоя,*

*М.*

## Улья Нова Потепление

Окончила Маруся платный институт, расположенный на окраине, в четырехэтажном помещении бывшего ПТУ. В ее дипломе с отличием аккуратным почерком с завитушками на всю оставшуюся жизнь вывели: «эколог». С такой записью в дипломе, по глубокому убеждению Маруси, можно жить многие годы, гордо расправив плечи. В особенности если ты блестяще защитила курсовую работу по такой всеобъемлющей и важной теме, как «Причины глобального потепления климата», – щебетала она подружке Асе, журналистке, после выпускного вечера. К сожалению, при столкновении с действительностью оказалось, что обладательница подобного диплома с отличием, несмотря на статус лучшей студентки и похвальную грамоту ректора, обречена работать менеджером среднего звена в затерянном на окраине города офисе по продаже автопокрышек. Но чтобы Марусю не мотало из стороны в сторону, чтобы уберечь ее от безденежья и бессмысленной беготни, мама озаботилась пристроить дочку в государственное учреждение, связанное с недвижимостью. И Маруся стала работать под руководством маминной подруги, своей крестной, тети Тани. Раньше, до выхода на работу, тетя Таня казалась Марусе цельной, красивой и энергичной женщиной. Существовала легенда, что у крестной был любимый человек, летчик. Потом он разбился. Потом, согласно официальной версии, было множество ухажеров, но замуж она так и не вышла. Начав работать под ее крылом, Маруся узнала, что Татьяна Васильевна – женщина властная, волевая и суровая. С первых же дней Татьяна Васильевна стала превращать Марусю из бледной беспечной студентки в служащую. А точнее, по просьбе мамы ковала из нее прилежного, надежного и деятельного сотрудника. От девушки требовались дисциплина и исполнительность. Маме очень хотелось, чтобы ее дочь была подготовлена к жизни и побыстрее встала на ноги. И Татьяна Васильевна обещала помочь в этом как можно скорее.

Превращение Маруси в служащую должно было произойти в большой комнате-кубе, лишенной запаха и настроения. Эту часть здания отремонтировали как раз перед Марусиным выходом на работу. Белые стены, отделка из пластика под дерево, искусственные цветы, фанерные шкафы с синими файлами, чтобы ничего не отвлекало внимания. С Марусей в кубе сидели еще четыре женщины. Одна – за тридцать. Две старые девы под пятьдесят. И еще суетливая гиперэнергичная старушка. Вся эта обстановка должна была, как инкубатор, поскорее настроить неоперившуюся девицу на серьезный, взрослый лад. Но Маруся всячески

противилась превращению. Она надевала наушники и в разговоры своих соседок не особенно вникала. В коротких перерывах, вместо чая и болтовни, Маруся лазала по Интернету, продолжая наблюдать, как там обстоят дела с климатом планеты, что нового придумали ученые, к какому выводу они пришли, что посоветовали предпринимать, чтобы предотвратить глобальное потепление. Из-за этого в офисе считалось, что Маруся витает в облаках. И Татьяна Васильевна очень любила повторять по нескольку раз в день: «Опускайся на землю». Это звучало как надпись на плакате, который хотели повесить на въезде в долгую и счастливую Марусину жизнь – с момента «приземления» и до самой старости.

В Марусины обязанности входило написание ежемесячных отчетов о работе отдела. Она писала отчеты о строительстве по строго утвержденному плану, так что пространства для самовыражения у нее не было. Еще она составляла справки, заявления, выписки, письма сотрудникам, рассылала и получала электронную почту. И очень скоро все сошлось во мнении, что написание писем, отчетов и статей удастся Марусе лучше, чем остальным. За это ей поручали сочинение новогодних поздравлений, открыток на дни рождения, а также стихов по поводу новоселий, Восьмого марта, рождения внучек и на разные другие торжества. Но несмотря ни на что, после работы Маруся упрямо «витала в облаках», бродила по книжным и покупала сборники трудов по экологии. Она считала, что должна во что бы то ни стало сохранять и поддерживать в себе эколога. Ей нравилось раздумывать о движении потоков теплого воздуха над океанами, о повышении среднегодовой температуры и таянии льдов. До поздней ночи она рылась в Интернете, выискивая свежие факты, касающиеся изменений климата. Иногда, за ужином, Маруся до изнеможения спорила с мамой, пытаясь доказать, что рано или поздно обязательно свяжет судьбу с климатом планеты и найдет приложение диплому. Похлебывая чай и отгрызая кусочек овсяного печенья, Маруся щебетала, что ее сердце подсказывает: надо быть в курсе последних новостей, научных статей и веяний в этой области. Частенько переходя на крик, Маруся пыталась объяснить и подруге Асе, что ей бы хотелось мыслить в масштабе целой планеты, а не размениваться на справки, отчеты и поздравительные открытки. Как вариант, шипела Маруся, можно освещать темы экологии, беседовать с различными людьми по этому вопросу и формировать общественное мнение. Мама возражала. Она говорила, что Марусю тянет в болото, на низкий уровень зарплат. Мама говорила, что климатом планеты пусть занимаются ученые где-нибудь там, и показывала в сторону окна. Ася неуверенно бормотала, что сейчас недвижимостью заниматься намного перспективнее. А статьи и телепередачи лучше посвящать путешествиям, фитнесу, косметике и экзотическим кухням. А этот климат, его изучают-изучают и все равно ничего толком объяснить не могут.

Так в комнатке-кубе за написанием отчетов и поздравлений, за чаем и спорами с мамой и Асей прошел почти год Марусиной жизни.

А потом она оказалась в прихожей, оклеенной шершавыми бежевыми обоями, возле приоткрытой двери в комнату, притаилась, прижалась щекой к стене и наблюдала высокого худощавого брюнета, который, развалившись в кресле, листал журнал. Он излучал непробиваемое спокойствие и равнодушие. Молчал. Улыбался уголком рта. Лениво потягивал глинтвейн, не вникал в разговор, поглядывал на часы. Глядя на него, Маруся ничего не подумала, но в ее голове лавиной прогремело: «Он!» Еще ее бросило из наших северных широт в зону экватора. Она пропотела, взбодрилась и тут же услышала из-за плеча шепот Аси, на вечеринке у которой дело и происходило.

– Ты что, мать! Остановись, остынь! – декламировала Ася. – Это мой бывший сокурсник. Айсберг.

– Ну и фамилия!

– Никакая это не фамилия, а призвание. Я тебе про него, кажется, рассказывала. Все девчонки, – и она указала на трех девчонок, затихших за ноутбуком на диване, – разбились об него и пошли на дно. Ты что, хочешь последовать их примеру? Это холод и лед, Маруся, высокомерный, заносчивый парень, маменькин сынок, сноб. Плюнь. И живи спокойно.

Притаившись за косяком двери, Маруся еще некоторое время наблюдала за брюнетом. Раньше она видела айсберги только в журналах и учебниках. Там писали, что если айсберги начнут активно таять, то общий уровень Мирового океана сильно повысится, тогда многие города, поля и деревни окажутся под водой. И, читая об этом, Маруся была готова встать на защиту огромных глыб льда, создать условия, чтобы они не таяли, а спокойно, чинно плыли, неся на своих спинах тюленей, котиков и белых медведей. Потом они заперлись с Асей на кухне.

– Не связывалась бы ты с ним. В общем, я тебя предупредила, а там как знаешь, – бормотала Ася, выпуская дым в форточку.

Они выпили по рюмочке коньячка. Закусили шоколадкой. Маруся сказала:

– Все, пойду. Настал мой час! – и ринулась в бой.

По пути из кухни в комнату ей захотелось не разбиться, не утонуть, а растопить этот айсберг, огромную глыбу льда, большая часть которой наверняка еще скрыта под водой. Маруся многое знала про потепление, она держала в голове различные теории и гипотезы относительно изменений климата планеты, но вот как растопить один отдельно взятый айсберг – на этот конкретный вопрос ответа у нее не нашлось. Из-за этого у нее было в точности такое ощущение, как когда идешь сдавать зачет по невыученному предмету. Она вспомнила фразу сокурсника, который однажды в аудитории шепнул ей в спину, подразумевая преподавателя: «Грузани!» И это означало: говори все, что знаешь, неси околесицу, болтай бодро и горячо, не умолкая ни на секунду. Вспомнив этот старый, как мир, студенческий девиз, исполнившись от него некоторой уверенности, Маруся ворвалась в комнату, шелестя юбкой, и принялась болтать без умолку.

Был конец осени, а снег все не выпадал. Обычно первый робкий снег припудривает московские тротуары и газоны уже в конце октября. А уж к началу ноября на плечи столицы набрасывает белую шаль первый снегопад. К концу ноября город свыкается с мыслью, что наступила зима. И его жители облачаются в бесформенные пуховики, достают из кладовок старые шубы, придающие всем сходство с ондатрами и нутриями. А некоторые натягивают короткие курточки с мехом, на первый взгляд модные, на второй – смешные. Но в ту осень все было совершенно не так. Зима не наступала. В окне под деревьями чернела мягкая, теплая земля. Кое-где начинала пробиваться травка. А в солнечные дни за окном воробьи устраивали торги по поводу невест. Они чирикали с раннего утра, их нарастающий гул звенел над городом. Тем временем по краям тротуаров голуби, по-весеннему нахохлившись, полоскали оперение в лужах. На липах и кустах боярышника набухли почки. Город пропитался запахом неба, гнили и молодой коры. Всех мутило от предчувствия весны. А по вечерам из сумерек слышались кошачьи концерты, визг толпящихся у подъездов девочек-эмо, звуки музыки из припаркованных под окнами машин и басистый смех высоких парней в потрепанных джинсах, что болтались на их развинченных костлявых телах.

Потепление климата, европейская зима были наиболее популярными темами разговоров и теленовостей. Этим грех было не воспользоваться, если учесть, что изменения климата планеты являлись предметом Марусиного искреннего интереса. Защитив диплом по теме «Причины глобального потепления» и продолжая весь год читать про это статьи и научные обзоры, она кое-что понимала. И была намерена использовать приобретенные знания, а также само это загадочное глобальное потепление в своих интересах. Поэтому, смело направившись к креслу, в котором скучал худой, черноглазый брюнет, Маруся принялась рассказывать всем присутствующим в комнате и никому конкретно о том, что ее по-настоящему волнует и гнетет: планета претерпевает сильнейшие изменения, связанные с халатностью и небрежным отношением людей к своей среде обитания. Лучшая студентка курса, лауреат премии «Надежда экологии», участница симпозиума «Актуальные проблемы биосферы», она так долго молчала, так соскучилась по зачетам и возможности высказаться, что теперь отчаянно пользовалась случаем и не могла остановиться. Благодаря Марусиной взволнованной, громкой речи или же из-за шелеста новой юбки айсберг оторвался от журнала, вяло посмотрел в ее сторону, нахмурился и стал неохотно прислушиваться. Он не

удивился, не вздрогнул, а, лениво оглядев Марусю, все же отложил журнал на подоконник и закинул ногу на ногу. По его виду можно было подумать, что за окном над крышами машин вовсю кружит метель, а столбик термометра стремительно приближается к отметке «минус тридцать». Он сидел, чуть сжавшись, спрятав руки в рукава толстого свитера. Ни чирикание воробьиных свадеб, ни зеленая травка на тротуарах его не касались. И тем не менее ровно через пять минут сорок восемь секунд, как позже сообщила Ася, айсберг и Маруся оказались рядом. Он, слегка растерянный и обескураженный всем, что услышал, не нашел ничего лучшего, как уступить ей кресло, а сам устроился на полу, у ее ног, и внимал тому, о чем она говорила.

«Понимаешь, – тараторила Маруся, похлебывая большими жадными глотками глинтвейн, – люди не задумываются о будущем. Они захламляют планету – свой дом родной – ядовитыми отходами, продуктами промышленной переработки, полиэтиленовыми пакетами, пластиком и парафином». Прервавшись на мгновение, допив залпом глинтвейн, Маруся закусила его крошечной тарталеткой с икрой и продолжила: «Люди выпускают в воздух из труб угарный газ, азот, которые окутывают Землю, будто капроновый чулок. И самое удивительное, – бубнила она, быстро проглотив содержимое рюмочки коньяка и отправив вслед за ним три оливки, – что это совершенно никого не волнует, кроме горстки ученых, рассыпанных по далеким западным лабораториям, и некоторых доцентов, прозябающих у нас на кафедрах». Выпитое и съеденное немного взбодрило Марусю, согрело, дало силы для того, чтобы не сбавлять взятый темп. Она чувствовала: эффект зачета достигнут, слушатель заинтригован, парализован и на короткое время сведен с ума потоком разнообразных научных фактов и точных цифр.

Время близилось к полуночи, гости выходили перекурить на балкон, разбредались по домам. Три разбившиеся об айсберг и утонувшие девчонки, облачившись в коротенькие пальто, понуро удалились, посмеиваясь над Марусей, многозначительно поглядывая друг на друга, закатывая глаза, крутя пальцами у виска. И тем не менее Митя, каким-то образом умудрившийся вставить в паузу, что его так зовут, мутно предложил проводить Марусю до метро. Он спросил, обращаясь не то к Марусе, не то к самому себе: «Проводить, что ли? Или не провожать?» В коридоре, неохотно помогая ей надеть куртку, наблюдая, как она поправляет ободок на вьющихся золотистых волосах, он узнал, что на Западе давно оценили масштаб назревающей экологической катастрофы. Там предпринимают шаги не только для того, чтобы искоренить последствия былых загрязнений окружающей среды, но, что самое главное, стараются предотвратить любое новое преступление против природы Земли. Так объясняла Маруся растерянному Мите уже в лифте, и благодаря этой страстной речи он, кажется, заметил ее губы, которые были в катастрофической близости от его полуоткрытых от удивления, чуть обветренных губ.

Вот они уже идут по улице в сторону метро. Мимо серых девятиэтажек и тусклых, мигающих фонарей. Несмотря на позднюю осень и сумерки, воздух по-весеннему пахнет дождем и мятой. Маруся рассуждает о мерах по защите природы, предпринимаемых в разных странах. Митя идет рядом, кивает, старается согреть руки в карманах, немного зябнет, кутается в шарф. Ничего подобного он никогда не слышал из женских уст. «И очень жаль, – говорит Маруся. – Очень жаль, что все так складывается. А вот жители европейских городов стараются чаще ездить на велосипедах, чтобы не загрязнять воздух выхлопами машин. Постепенно у них там происходит переход на дизельное топливо. Используют специальные сумки для шопинга вместо целлофановых пакетов. А еще они сортируют мусор, выкидывая его в несколько разных контейнеров в зависимости от материалов и способов их утилизации».

Уже в поезде, что вез их из Алтуфьево в сторону центра, Митя-айсберг ни с того ни с сего, прервав неловкое молчание, неожиданно и решительно возразил, что культура культурой, экология экологией, но, если вдуматься, ужасно напрягает: сортировать мусор, складывать его в несколько разных пакетов. Пластиковые бутылки – отдельно. Бумагу – отдельно. «Как ты думаешь, кто из этих людей на такое способен?» – и он указал глазами на

усталых, рассеянных пассажиров полуночного вагона. Поезд остановился в темном туннеле, а Митя и Маруся, оживившись, рассматривали полусонных парней, усталых мужчин в кожаных куртках, девушек в лайковых сапогах, прикидывая, кто из них сможет хотя бы неделю сортировать мусор, и потом пытаюсь угадать, кто из них донесет пустую пачку от сигарет или окурки до урны, а не выбросит где попало: на траву, на тропинку бульвара. Они смеялись, толкали друг друга локтем в бок, высказывая предположения о том или ином попутчике, и так увлеклись этой игрой, что Митя забыл выйти на своей станции. Незаметно они оказались возле Марусино подьезда. Стояли во дворе, и, несмотря на затянувшуюся речь о вреде пластика и полиэтилена, Мите все же удалось в первый раз прикоснуться к ее горячим, мягким губам. У него оказались большущие и сильные губы, от которых было невозможно оторваться. С каждой секундой они втягивали Марусю все сильнее, выпивая ее волю и наполняя тело теплой пульсирующей болью. И она вспомнила, как в детстве, совершенно бездумно, в феврале, в мороз, коснулась губами холодной лаялки. И обожглась. Но этот долгий, бессовестный поцелуй не помешал ей, с трудом оторвавшись, все-таки договорить, что больше всего ее удивляет отсутствие ответственных людей, готовых взять на себя заботу об экологии планеты, о контроле над ее климатом, от стабильности которого зависит жизнь наших детей и внуков. «Все мы занимаемся какой-то второстепенной ерундой. Наша деятельность, по сути относящаяся к сфере услуг, направлена на осуществление мелких профессиональных целей и на личное обогащение. Если бы я только могла, – вздыхала Маруся, обнимая Митю за шею, – я бы с удовольствием связала жизнь с важнейшей миссией – борьбой с глобальным потеплением и экологической катастрофой. Но что я могу поделать? У нас очень низкое экологическое сознание. На экологические нужды почему-то требуются инвестиции иностранных бизнесменов. Потом мы будем расхлебывать последствия этих лет».

Они стояли у подьезда, во дворике. Медленно и задумчиво из фиолетового неба хлопьями падал первый ноябрьский снег. Снежинки порошили Митины черные волосы, ложились на его серо-синюю куртку. Хлопья снега не успевали долететь до земли и таяли на лету. И когда Маруся запустила руку в Митины вихры, то узнала, что они густые, жесткие, непослушные, усыпанные крошечными капельками, в которые превращались растаявшие снежинки, осколки неба, микроскопические кружевные салфетки, идеально ровные и упорядоченные миражи.

Вечером он иногда звонил и тусклым, тихим голосом бросал: «Освободилась? Не хочешь проветриться?.. А, ну тогда на «Новокузнецкой». Я буду там минут через сорок!» И Маруся начинала метаться по белой комнатке среди шкафов с синими папками и четырех исполнительных сослуживиц, торопливо выстукивавших перед мониторами. Каждый раз, стараясь казаться спокойной и деловой, она выдумывала какой-нибудь хитрый предлог, чтобы отпроситься чуточку пораньше. Хватала сумочку под мышку, юркала мимо кабинета Татьяны Васильевны и, задыхаясь от восторга, ликуя, что снова свободна, вырывалась в фиалковые сумерки в распахнутом пальто, на бегу наматывая на шею изумрудный платок.

Митя ждал в метро, привалившись к колонне, уткнувшись в журнал: скучающий, усталый, рассеянно замирая, раздумывал о чем-то. В этот момент он больше всего напоминал Марусе не айсберг, а Айзенберга, старенького доцента кафедры информатики, целью жизни которого было завалить как можно больше студентов на зачете и навязать всем подряд отработки за пропущенную лекцию. От подобного сравнения становилось тревожно. Она подходила. Не замеченная, чуточку притопывала ногой, улыбалась и очертя голову принималась болтать дальше. Все, что знает. Чтобы не разбиться и не утонуть, как те три девчонки. Чтобы не срезаться, как на отработке по информатике. Чтобы не молчать, как скучающие молодые парочки в кафе или бесформенные и потерянные взрослые пары повсюду вокруг. Принаравливаясь к его быстрой походке, Маруся почти бежала по Ордынке, прячась в платок от встречного сквозняка. Задыхаясь горьковатыми выхлопами гудящих в пробке машин, она без умолку тараторила про парниковый эффект. Во-первых,

потому что считала это важной и не пустой темой для разговора. Во-вторых, потому что это была одна из тех немногочисленных тем, в которых Маруся действительно разбиралась. Она не могла с тем же успехом обсудить, скажем, бутики Москвы или модные тенденции этого сезона. Она ничего не знала о жизни знаменитостей, которую все подряд норовят подсмотреть в щелочку штор или в замочную скважину. Ничего не смыслила она ни в экзотических кухнях, ни в экстремальных видах спорта, ни в образе жизни торговцев нефтью. Можно даже сказать, что Маруся вообще ничего не знала об этом мире, об этом городе. И все, что творилось в стране и за ее пределами, оставалось недоступным для ее понимания. Зато она была осведомлена обо всем, что связано с парниковым эффектом. «Причиной его, – щебетала Маруся, – многие ученые считают усиление солнечной активности. Но это не совсем так. Некоторые другие специалисты придерживаются мнения, что парниковый эффект вызван усиленным выбросом в атмосферу угарных газов».

Митя молчал, слушал и впитывал. Однажды Маруся и сама немного удивилась: почему это он так покорно внимает, никогда не прерывая ее затянувшиеся лекции-монологи. И тогда она принялась строить разнообразные догадки. Маловероятные: что ему интересны рассуждения, касающиеся климата планеты и халатного обращения человечества с природой. Более вероятные: что Мите совершенно все равно и, о чем бы она ни говорила, он пропустит ее слова мимо ушей, ничего не услышит и будет продолжать думать о своем. Со временем выяснилось, что все Марусины версии в общем-то недалеко от истины. Оказалось, он – подающий надежды журналист, работающий в разнообразных ежемесячных изданиях и уже написавший пару больших статей в популярные еженедельники. И у него всегда при себе, в кармане синей куртки или вельветового пиджака, имеется маленькая черная записная книжка – молескин. Бывали дни, когда айсберг Митя, начиная понемногу оттаивать, вдруг выныривал из ледяной воды своих раздумий, брал Марусю под руку и аккуратно вел, чтобы она, разговорившись, не налетела на встречного, не споткнулась и не прошла по луже. Или, взяв ее за руку, почувствовав, что ей холодно, предлагал зайти куда-нибудь погреться, посидеть, выпить чая или глинтвейна. Но эти короткие случайные потепления вновь сменялись резким, неожиданным и обидным похолоданием. И тогда со стороны могло показаться, что он безразличный и даже слегка заносчивый молодой человек в толстом свитере и полосатом шарфе. На самом же деле он не просто молчал, а наблюдал, подслушивал и кропотливо заносил в свою книжечку аккуратным бисерным почерком все, что привлекало его внимание в метро, в кинотеатрах, на улицах, на вечеринках. Притаившись, он впитывал все происходящее вокруг, украдкой, как шпион, и в молескине появлялись высказывания знакомых, реплики прохожих, странные ситуации в магазинах, в кафе, уличные сценки, содержимое рекламных растяжек, мигающих здесь и там рекламных щитов. Иногда Митя поспешно и деловито, прямо на ходу, записывал в свою черную книжечку Марусины высказывания. И ее раздражало от гордости. Она расправляла плечи и, не умолкая ни на минуту, шла рядом с ним на высоченных каблуках новеньких сапог, изредка переходя на бег. Ее волосы подпрыгивали, переливались золотом, ресницы дрожали, глаза светились, но он ничего этого не замечал, смотрел куда-то вдаль, как будто ловил, а потом старательно фиксировал какую-то важную, неожиданно пришедшую в голову мысль.

Чуть позже Маруся догадалась, что все эти резкие и обидные похолодания между ними происходили, когда наставало время сдавать в редакцию статьи. И тогда Митя впадал в болезненное состояние боязни не справиться с задачей, растерянности, страха, азарта и нездорового веселья. Он становился едким, раздражительным, сыпал злыми шутками, кутался в свой толстый свитер, прятался за шарфом, мерз и поглядывал на всех свысока. Иногда он был настолько рассеян, витал так далеко, что его приходилось окликать по несколько раз. И Маруся не обижалась. Он молчал и обдумывал, она болтала в метро и на улице. Ей необходимо было высказать свое глубокое убеждение, что изменение климата – следствие многих взаимосвязанных причин. Все складывается в общий котел, и атмосфера потихоньку теплеет. Среднегодовая температура повышается. В Арктике и Антарктиде тают ледники, воды становится все больше. Если так пойдет, то в скором будущем Венеция может

утонуть. Над ее площадями и дворцами будут плавать дельфины и скумбрии. Митя не возражал. Приободренная, Маруся продолжала трещать без запинки обо всем, что знает. И большая часть Марусиных речей сводилась опять -таки к тому, что ей бы хотелось заняться полезным, стоящим делом, а не каким-то там составлением ежемесячных отчетов в учреждении, торгующем недвижимостью. Мама и начальница-крестная чувствуют ее настроения и изо всех сил стараются превратить в прилежную, исполнительную служащую. Но она отчаянно сопротивляется, и эта борьба ужасно выматывает. А все потому, что ей бы хотелось как-то улучшать своей деятельностью мир, приносить пользу. И на ее взгляд, это как нельзя лучше было бы сделать, работая в сфере экологии и предотвращая глобальное потепление. Митя понимающе кивал, при этом умудряясь отвечать на звонки мобильного и заносить что-то в черный молескин. А Маруся тем временем, чувствуя прилив сил и вдохновения, затягивала любимую песню: «В нашей стране люди отвлечены на решение каких-то иных вопросов, связанных с выживанием. А до экологии никому нет дела. Конечно, на первый взгляд кажется, что намного важнее одеться, обуться, приобрести жилье, заработать на машины и дачи, укреплять экономику, достраивать города. За всем этим забывают о природе. Никому не важно, в каком состоянии находится окружающая среда, чем мы дышим. Вот мне и кажется, – бубнила Маруся, – что можно было бы принести большую пользу, если в каком-нибудь журнале, газете или в радиопередаче рассказывать об окружающей среде, о важности бережного отношения к ней, освещать различные преступления против природы. Ведь нельзя забывать, что наша страна вносит огромный вклад в загрязнение окружающей среды, а это косвенно сказывается на состоянии планеты в целом. Из-за этого на глазах меняется климат. Назревает глобальное потепление. И мы уже наблюдаем первые его ростки».

Митя редко возражал, он был идеальный слушатель, которому так и тянет все рассказать. И Маруся с готовностью делилась с ним мыслями о прочитанной статье на тему загрязнения воды. Митя задумчиво смотрел на нее, а потом принимался строчить что-то в свой черный молескин. Марусе удавалось прошептать что-нибудь, на ее взгляд, очень важное Мите на ухо даже в кинотеатре. И в постели, только-только выпутавшись из его объятий, еще в поту, она начинала рассуждать. И чтобы немного сдержать безбрежный поток мыслей, ощущений, надежд и устремлений, он угощал Марусю крупными синими виноградинами изо рта в рот. Или желтыми сочными грушами, которые никак нельзя было есть, при этом ухитряясь еще чего-нибудь говорить, так как с них тек сок и сок надо было улавливать ладонью, чтобы не испортить обивку дивана или не закапать плед. Но особенно он любил кормить ее грейпфрутами, нарезанными красивыми кольцами, похожими на желтые велосипедные колеса, с сочной розовой мякотью. Их поглощение никак не вязалось даже с произнесением обрывочных и случайных звуков. А уж связанное слово, краткую оценку событий или оригинальное, но емкое мнение по вопросу исчезновения редких видов животных высказать за грейпфрутом не удавалось. И поэтому рядом с диваном на тарелочке всегда ждал своего часа спасающий от Марусиного экологического словоизвержения натюрморт, в состав которого входила парочка грейпфрутов, несколько груш, грозди винограда «Кардинал» и нож. И это позволяло Мите полежать немного в тишине, посмотреть в потолок и, теребя Марусин жесткий, извивающийся локон, спокойно обдумать тему предстоящей статьи.

Ася уже в третий раз после Марусиного знакомства с Митей удивленно бормотала в трубку: «Мать, ты хоть осознаешь, что установила мировой рекорд – он встречается с тобой дольше, чем с кем бы то ни было. Три девчонки из нашей группы разбились об него, понимаешь. И утонули. Раз тебе сопутствует успех, ты, конечно, продолжай в том же духе. Но погоди радоваться. Посмотрим, чем это обернется». И Маруся продолжала в том же духе.

Обычно они встречались где-нибудь в центре, прогуливались до ближайшей станции метро, а потом ехали к нему. У него в комнате был прекрасный диван-книжка с обивкой в бежевую клеточку. На этом диване однажды Маруся громко и решительно заявила, что

автомобильные выхлопы – большая проблема, особенно для Москвы. Ни в одной столице мира нет такого огромного количества автомобилей. И все они портят столичный воздух, создают над центром столицы парниковый эффект, внося огромную лепту в изменение климата планеты в целом. Чтобы видеть Митины глаза, Маруся оставила его лежать в одиночестве на диване, а сама уселась напротив, в кожаное коричневое кресло, неудобное и скрипучее. Закутавшись в Митину кофту с капюшоном, свернувшись в клубочек, она пыталась внушить, что экологическое равновесие очень важно. «Понимаешь, изменение одного из параметров экосистемы ведет к необратимым последствиям во всех других составляющих». Митя курил, обдумывая ее слова, выпускал струйку дыма в потолок. У него было стройное, немного бледное тело, как у всех, кто многие часы проводит за умственным трудом. Чтобы дослушать, он тихо предложил ей остаться на ночь. Но говорили они мало, в основном молчали. Поэтому, чтобы не терять времени даром, на следующее утро, за чашкой кофе, Маруся опять старалась склонить его в свою веру: веру в скорое и окончательное потепление климата, однозначные причины которого никому не известны.

Декабрь подходил к концу, а зимой и не пахло. Проснулись мухи и без зазрения совести кружили по комнате. По подоконнику изредка сновала божья коровка, как маленькая машинка автоинструктора по учебной площадке. Снег несколько раз вился над крышами, оседал на землю и тут же таял, не продержавшись и суток. Зима поддразнивала жителей столицы и проверяла их на верность. Большинство пожилых людей, вроде Митиной соседки, старушки-пенсионерки, и Марусиных четырех сослуживиц, уже настроились на морозы и болезненно переживали странное промедление. Они томились, хныкали, жаловались на усталость и головную боль. Но большинство Марусиных друзей и бывших Митиных сокурсников чувствовали себя очень счастливыми в новом времени года: разгуливали по улицам в кедах, с растрепанными волосами, в расстегнутых куртках, обнимались и что-то бодро бормотали в мобильные. Собаки по-весеннему бегали друг за другом, покусывая и весело твякая в сиреневой дымке утра. Стали поговаривать, что столица останется в этом году без снега. Тема изменений климата стала одной из самых популярных, ее использовали как забавный, отвлекающий фантик в выпусках новостей, в радиопередачах, в разговорах. Это была нейтральная тема, по которой спешил высказаться каждый. Ведь, кроме всего прочего, потепление подрывало благосостояние многих людей. В первую очередь от него страдали продавцы дубленок, меховых шапок и шуб. Теплые вещи начали казаться приметами прошлого. Варежки, толстые шерстяные шарфы и свитера с начесом – все это стремительно теряло смысл, на глазах становясь музейными экспонатами. Особенно жаловались на потепление продавцы лыж и коньков – спортивные магазины терпели убытки. Маруся с Митей, обнявшись под пледом поздно вечером, не раз натыкались на интервью с каким-нибудь растерянным продавцом сноубордов, который метался по пустому салону среди ярко разукрашенных досок. И никто не мог ответить ему с определенностью: суждено ли хоть одной из них быть обкатанной по московскому склону уже этой зимой.

Не удивительно, что к концу января, когда наконец город затянуло тоненькой снежной шалью и подули колючие ветра, все тут же пожалели, что ждали зиму и суетились по поводу ее отсутствия. Совершенно разучилась выживать в условиях московской зимы и Маруся. Ярая противница глобального потепления, уже через пару морозных дней она вспомнила, что переход с осенней одежды на зимнюю – настоящее испытание. Пойди нарядись в бесформенный дустрый пуховик, придающий сходство с медведицей, гусыней или бобрехой. Или в дубленку, в которой совершенно невозможно вытянуть руку перед собой. Но самая большая проверка на уверенность в себе, грандиозное испытание чувству собственного достоинства – зимние шапки. Какой бы ни была зимняя шапка, она непередаваемо уродует владельца. Она мнет прическу, уничтожает укладку, придавая волосам блеклый вид, какой бывает при ангине после высокой температуры. Под шапкой плохо уживаются маскирующие средства, косметика течет и тает, на лбу выступает испарина. Во всей этой зимней московской экипировке жизнь сразу приобретает сходство с борьбой. Куда-то доехать, пробираясь сквозь снежные заносы, становится маленьким испытанием на крепость

здоровья, нервов и чувства юмора. Поэтому зимой московские жители самых разных возрастов, стараясь экономить силы, впадают в эмоциональную спячку, становятся безразличными, уходят в себя. Настоящая московская зима – не самое лучшее время для тех, кто хочет растопить хотя бы один, уже было поддавшийся и начавший таять айсберг. Так утешала себя Маруся, заметив, что с наступлением холодов их встречи с Митей стали происходить значительно реже.

Он редко звонил и никогда не оправдывался. Каждый раз, когда долгожданное свидание по какой-нибудь причине откладывалось, Маруся начинала докапываться до сути и находила в себе массу недостатков. Она осознавала, что ей не хватает безупречности. И считала главной причиной всех своих неудач работу не по специальности. Татьяна Васильевна и мама продолжали упорные попытки превратить ее в образцовую служащую, и противостояние этому превращению давалось Марусе очень нелегко. Ей казалось, что из-за ежедневной рутины, которая отнимает все ее силы и выбивает дух, у нее не хватает так необходимого огонька и вдохновения для того, чтобы нравиться айсбергу, занимать все его мысли, растопить его окончательно и бесповоротно. И тогда, от отчаяния, чтобы согреться и не грустить, она возобновляла поиски новой работы, где можно будет найти применение диплому. Но, несмотря на всю Марусину энергию и оптимизм, поиски новой работы, как правило, заканчивались безуспешно. И мама назидательно говорила: «Вот видишь!»

Как-то в очередной раз Митя пригласил Марусю в гости, а потом вдруг перезвонил, сказал: «Сорри, сегодня не получится пересечься», сославшись на какое-то важное и загадочное собеседование. И тогда, приглядевшись к отражению в зеркале, Маруся выяснила, что не похожа на возлюбленную, которой названивают пять раз в день, чтобы спросить: «Где ты?», а похожа на хрупкую, бестолковую, рассеянную от любви девушку, у которой все валится из рук. А Митя пока еще не влюблен. Не ждет звонка. И похоже, цель его жизни сводится к тому, чтобы нравиться всем, кто встретится ему на пути. Этим чувством были захвачены все относительно молодые жители Москвы. Влажный, сырой воздух, пахнувший корой и талым снегом, мартовские ветра в середине декабря сделали свое дело. При беглом взгляде по сторонам становилась очевидной огромная конкуренция среди тех, кто хочет в себя влюблять, и явный дефицит желающих любить, влюбляться, быть верными, преданными. И ждать звонка. По городу бродили толпы окрыленных, неустанно украшающих себя людей. Одни хотели нравиться, влюблять в себя безо всяких тайных целей. Это были подростки, школьники и студенты. Они жили на родительские деньги, гуляли, толпились у подъездов, пили, курили, обнимались и были завидно беззаботными. Этот период своей жизни Маруся благополучно миновала. Другие хотели влюблять в себя с целью завести долгие отношения, детей и квартиру по ипотеке. Другие другие хотели нравиться с тайной целью продвинуться по службе. Они использовали обаяние, направляя его в нужное русло и на нужных людей. А некоторым просто хотелось влюблять в себя направо и налево без разбора: усталых бесцветных парней в метро, подтянутых охранников в салонах связи, официанток, молоденьких кассирш, менеджеров банка и просто прохожих всех возрастов. О том, что будет дальше и зачем это, никто не задумывался. Сейчас вообще не модно страдать и выворачиваться наизнанку от чувств, убеждала себя Маруся. Сейчас время холодных, изнеженных людей, которые не ищут тепла, а стараются культивировать внутренний холод. Видимо, это своеобразный ответ человечества на мартовские ветра зимой, неосознанное стремление сохранить баланс температур неизменным. А значит, делала вывод Маруся, это тоже пагубное следствие глобального потепления, его плачевные всходы.

После того загадочного собеседования Митя не звонил две недели и не отвечал на ее звонки. Из-за этого Маруся мерзла: рано утром, по дороге на работу, в белой комнатке-кубе, на совещании, в кабинете Татьяны Васильевны, дома, закутанная в ангорскую серую кофту с капюшоном. И однажды вечером в книжном магазине она ничего не подумала, но в голове у нее как-то само собой лавиной прогремело: «А он и не позвонит». И тогда она: всхлипнула, разгрызла мятный леденец, проглотила крошечные сладкие осколки, смахнула челку и решительно направилась в отдел фотоальбомов покупать себе какой-нибудь новый

утешительный подарок к окончанию любви. Каждый раз, когда Маруся расставалась с человеком, который не понял, не рассмотрел и не расслышал ее, она покупала фотоальбомы, посвященные редким, вымирающим животным. Потом, устроившись дома на подоконнике, закутавшись в огромный растянутый кардиган, она часами разглядывала фотографии отдаленных уголков земли и существ, находящихся на грани исчезновения. На маленькой книжной полочке возле компьютера у нее уже была собрана целая коллекция альбомов о жизни амурских тигров, гренландских китов, красных волков, уссурийских пятнистых оленей и реликтовых чаек. На этот раз Маруся со вздохом сказала кассирше, протянув деньги: «Мне, пожалуйста, вот эту книжечку о снежных барсах». Она медленно листала ее в метро и приходила к выводу: когда большая грациозная кошка, приспособленная для жизни в снегах, медленно умирает, уходит в прошлое, становится чучелом, музейным экспонатом, что уж тут особенно убиваться по одной маленькой несостоявшейся любви. И Маруся вернулась домой немного печальная, но смирившаяся. Она перестала названивать Мите. И почти не вздрагивала и не неслась к телефону при каждом новом звонке.

Через неделю в гости зашла Ася. Точнее, скинув шарф и пуховик, разбросав в разные стороны сапоги, она ворвалась, уселась на краешек стола, закурила и принялась строчить пулеметом:

– Ну, мать, ты меня, конечно, извини! Я потрясена и пришла тебя огорчать. – Выпалила и выжидающе умолкла, наблюдая за Марусей, которая села напротив нее на диван по-турецки и принялась гадать:

– У тебя с ним роман.

– Дура. Это ты у нас липнешь к айсбергам. А я люблю ананасы в шампанском, под пальмой, на морском берегу. Стужа. Давай дальше.

– Он получил в наследство соседскую квартиру, продал ее и уехал на три года в Антарктиду с теми тремя разбившимися об него девчонками.

– Холодно. Включи мозг.

– Он открыл фабрику мороженого. И женился на Снегурке.

– Ха. Принеси-ка, мать, мне чайку, горло чего-то начинает болеть. И я все расскажу. Ага, сахар положила? Умница. Только сядь, а то упадешь, придется тебя собирать по кусочку и склеивать. Так вот. Митенька. Не я ли тебя предупреждала, что он сноб, маменькин сынок и айсберг? И недавно он неожиданно устроился на работу.

– На секретный завод по производству снеговиков.

– Нет. Лимончика в этом доме не найдется? Очень жаль. Теперь сядь и слушай. Митенька устроился на радио. А это большое дело, ведь правда, когда человек достигает своего? И он мне уже похвастался. Позвонил вчера к нам в газету, наткнулся на меня. «О, – говорит, – Крутикова, не узнал, богатая будешь!» Важный такой сразу. Я давно заметила, что, стоит только моим знакомым мужчинам получить повышение, у них сразу вторая натура пробуждается. Их истинная скрытая сущность. Говорят важно и медленно. Басок откуда-то проклевывается. У них даже усы гуще становятся. И волосы на груди – курчавее. Но сейчас речь о другом.

– А, тогда я, кажется, знаю: у него роман с блондинкой за сорок, программным директором и самой главной теткой с этого радио.

– Холодно, Маруся. У него теперь своя программа на радио. Ты представляешь! Она выйдет в эфир уже совсем скоро, кажется, в конце марта. У него будет хорошая, популярная программа об окружающей среде. Тебе понравится. Он расскажет тебе об автомобильных выхлопах, парниковом эффекте, а также о том, как загрязнены московские реки, парки и пруды. И у него хватило наглости, понимаешь, гордо сообщить мне об этом. И еще о том, что он будет приглашать в студию всяких знаменитых людей: звезд шоу-бизнеса, политиков, писателей и ученых, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии. Он мне все это доложил, и я нечаянно села на свой iPhone, но, к счастью, не раздавила экран. Я слушала его с открытым ртом и думала: блин, никакой он не айсберг, он – самый настоящий жулик. Это же была твоя идея, Маруся, ты мне этими своими выхлопами все уши прожужжала. А он

взял, все присвоил и воплотил вместо тебя. И теперь, конечно, не звонит.

Маруся ничего не ответила, они молча пили горячий чай и некоторое время наблюдали, как тихо вьется за окном мягкий, пушистый снег, опускаясь на чьи-то ресницы, носы, капюшоны и дубленки. Ася, прихлебывая чай, с нетерпением ждала бурной реакции, какого-нибудь возмущенного возгласа, выплеска. И, не дождавшись, затянула сама:

– Однажды я поняла, что не надо рассказывать всяким левым людям, случайным прохожим, бабушкам в очереди о своих сокровенных мечтах. И даже человеку, которому ты очень хочешь понравиться, не надо раскрывать свои цели. Потому что в наше время у людей начисто нет идей и многие совершенно не способны мыслить самостоятельно. Да-да, многие не в состоянии определиться, чего они искренне хотят добиться в жизни. Потому что для этого надо уединиться, задуматься, быть искренним с самим собой. А многим моим знакомым, видишь ли, лень покопаться в себе, вскрыть свои тайные комнаты, вспомнить детство и отрочество, выявить самую главную мечту и самую важную цель. Намного проще, развалившись в кресле, ожидая очереди к парикмахеру, полистать журнал и почерпнуть оттуда пару затертых истин, пару глянцевого, кем-то уже намеченных целей. Удешевленных, усредненных, к которым стремится большинство. Можно так же, чуть прищутив левый глаз, вглядываться в повседневность, выявляя наиболее престижные пути, удачливые ходы. А еще проще присвоить чужую оригинальную мечту. Украсть. И тогда твоя мечта уж точно не сбудется в полном объеме или сбудется, но как-то не так. В искривленном виде. Как будто картинка, отразившаяся в зеркале комнаты смеха. Тем более, Маруся, не надо было рассказывать ему о том, чем тебе хочется заниматься, что ты считаешь высокой, достойной целью. Уж с этим у большинства людей дела обстоят и вовсе туго. Так что вот так. Черт. Мне очень жаль. Мне действительно жаль. И я удивляюсь, как тебе удастся все это так спокойно воспринимать.

Потом они курили на балконе, наблюдая беспечную стайку школьников, которые играли в снежки в парке под окнами, громко визжа, засовывая друг другу снег за шиворот. И когда Ася ушла, Маруся еще некоторое время сидела на подоконнике, листая свою коллекцию фотоальбомов о жизни редких, вымирающих животных. Опустив книгу на колени, она смотрела в окно, вспоминая разгневанную Асю, улыбалась и думала о том, что подруга, как всегда, все немного упрощает и заостряет, превращая повседневность в злободневный телерепортаж.

Как-то в конце февраля, вечером, они столкнулись в книжном магазине возле стеллажа с последними монографиями и новенькими учебниками по экологии.

– Ты чего это здесь делаешь? – совершенно спокойно, как всегда ничему не удивляясь, спросил Митя.

– Книжку ищу. Вот эту, – и Маруся указала на учебник, который он держал под мышкой.

– Она последняя. Я за ней специально сюда приехал. А тебе зачем?

– Я готовлюсь поступать в аспирантуру, – гордо сказала Маруся, сжала губы и хмуро посмотрела на него из-под бровей.

– Будешь писать диссертацию про потепление. И со временем станешь профессором потепления, – поддразнил он.

Далее последовала напряженная тишина, которая длилась неизвестно сколько, так как Аси не было поблизости и некому было засекал время, за которое Маруся немного обиделась, хотела уйти, но была поймана за локоть. Потом они были замечены камерой слежения возле кассы, где покупали учебник, один на двоих. В очереди Митя что-то долго и невозмутимо рассказывал, но его слова заглушал шум книжного, напоминавший гудение огромного улья. Маруся стояла рядом, внимательно и недоверчиво поглядывала на него, хмурилась, потом сдерживала смех и молчала. Магазианный турникет громко настороженно заверещал. Они остановились в дверях, долго рылись в Митиной сумке и показывали охраннику чек. На улице он приготовился, что Маруся, как обычно, ухватится за его рукав и

начнет болтать. Но она медленно шла рядом, прятала руки в карманах, любовалась снежинками, блеском огоньков в витринах и ничего не говорила. И Митя с нетерпением ждал спасительного рассказа о чем угодно. Но молчание не нарушалось. От Митиных вздохов в небо над городом все чаще вырывался белый клубящийся пар. Чтобы как-то защититься от неловкости и молчания, он хотел сделать вид, что записывает что-то в молескин. Но молескина в кармане не оказалось. Митя рылся в карманах и медленно шел рядом с Марусей, пытаясь угадать, куда она смотрит, о чем думает, почему молчит. И тогда он впервые увидел ее лицо: затаившее надежду, готовое расплакаться, ждущее объяснения, изумленное вечерним небом, с мерцанием множества золотистых огоньков в глазах, оправленное в мех капюшона и изумрудный платок.

Снег в это время уже напоминал безе, на нем образовалась хрустящая заледенелая корка. На тротуарах красиво виляла поземка, затягивая белой пудрой рассыпанные тут и там ледяные дорожки. Снежинки сверкали в Марусиных волосах – она это чувствовала по тому, как Митя поглядывал на нее. Он еще немного помолчал, потом тихонько пробормотал сам себе:

– Я потерял телефон, а с ним – записную книжку. Я не оправдываюсь, это так, к слову.

Они бежали вниз по улице, среди толпы, окутанной вихрями снежинок. Навстречу им брели девушки, весело пружиня на каблуках, разжурянные от морозца, с фирменными бумажными пакетами из магазинчиков. Парочки плыли навстречу, обнявшись. Стайки молодежи хохотали.

– Я не звонил, потому что у меня совершенно не было времени. Ася тебе наверняка уже доложила. Я зачем-то взялся за эту передачу про экологию. Между прочим, из-за тебя. Ты мне все уши прожужжала этим своим климатом планеты. Я и предложил одному знакомому моего отца, важному дядьке с радио, сделать передачу про все это твое любимое дурацкое потепление. Мне захотелось сделать это, потому что ты говорила, что нет людей, которые бы позаботились о природе. Блин, а теперь я не знаю, как быть. Я в этом совершенно ничего не понимаю. А там уже сроки. И люди. Я наобещал. И теперь не знаю, что делать.

Он бежал рядом, сжимал Марусину руку и, чтобы согреть, прятал в карман своего синего пуховика. На нем был полосатый синий шарф. И Маруся ничего не ответила, потому что впереди была длинная ледяная дорожка. Митя, придерживая Марусю за талию, бежал навстречу черной ленте льда, они катились, взявшись за руки мимо сверкающих витрин, мимо машин, на стекла которых брызгали блики фонарей. Они скользили мимо помпезных московских домов, памятника, иностранцев, глянцевого пакета с покупками, на которых искрились снежинки.

– Ты меня втянула во все это потепление, подставила, а потом пропала, – вздыхал айсберг.

Они бежали вниз по улице, смеясь, запыхавшись, в обнимку. Вдали стыдливо хромала в переулочек снегоуборочная машина. И Митя сказал, будто бы ей вослед:

– Аська говорит, что я жулик. Что я своровал твою идею. Дура она. Я хотел что-то сделать. Для планеты. И для тебя. И еще я, между прочим, очень скучал!

– Да помогу я тебе с этой твоей передачей про потепление! – возмутилась Маруся, стараясь вырвать руку из его теплой ладони.

– Я правда скучал! Давай ты переедешь ко мне? Я ведь очень скучал, и все это потепление тут ни при чем... И все же, что бы ни говорили ученые, его причины остаются совершенно непонятными, – пробормотал он, – совершенно...

## **Мария Мур**

### **Жирафа**

Более несуразного существа, казалось, в жизни мы не встречали. К тому же в том возрасте, в котором были тогда, мы придавали особенное значение внешности и своей, и

чужой – и мы шушукались и хихикали, когда она проходила быстрым шагом, наклоняясь вперед так, будто уже вот-вот упадет, по школьным коридорам, наша Жирафа – только так мы ее и называли, порой даже, обращаясь к ней лично, еле успевали закрыть рот после почти уже вылетевшего «жи...».

Нет, ну представьте себе даму неопределенного возраста, но вполне определенно двухметрового роста, вся фигура которой будто бы оплыла к ногам – головка у нее была крошечной, с какими-то нелепыми кудельками, сидела эта головка на длинной печальной шее, потом сутулились узкие круглые плечи, потом все это сооружение длилось, длилось и выплывало в непомерно широкие, неуклюжие бедра, зиждившиеся, в свою очередь, на толстых столбообразных ногах. Она носила длинные юбки, плотные чулки и огромного размера туфли без каблуков, и в эти плоские туфли втыкались грубые слоновьи лодыжки, цилиндрические, без малейшего намека на косточки там или прочие милые детали. Словом, такое вот посмешище и несчастье женского рода вело у нас в старших классах русский язык и литературу, и без того малоуважаемые в математической школе предметы.

Если бы она еще обладала хоть мало-мальской волей и авторитетом, если бы могла внушить пусть не уважение, но хотя бы страх, возможно, ее воспринимали бы, как и многих других неженственных училок, просто существом бесполом, созданным для вдалбливания в нас предмета, – слушались бы, помалкивали, трепетали и принимали как суровую данность. А она всех стеснялась, в класс входила боком, застенчиво пролезая в дверной проем, сидела своим огромным задом как-то на краешке стула, уныло поправляла страшные квадратные очки с толстенными линзами – довершение карикатурного образа, говорила тихо, боязливо, что-то там лепетала – надо ли объяснять, что на ее уроках всегда стоял шум и гам, на галерке самые наглые громко резались в «морской бой», а на передних партах те, что постарательнее, не теряя времени, сдували друг у друга физику. Если по расписанию литература шла первым уроком, к следующим дома можно было не готовиться – на это бывало время на уроках Жирафы.

Уже с самого начала урока она смотрела на нас со страдальческим видом, а к концу сорока пяти минут и вовсе скисала, бедная. Особенно она стеснялась девочек, а девочки в нашем классе были в меньшинстве и оттого все хороши, в химзавивках, в кружевах, кто в мини, кто в макси, все меж собой дружные, нахальные, умные, веселые. Над Жирафой подтрунивали вместе, отпускали вроде бы невинные шутки, остроумно отвечали на ее робкие замечания – словом, упражнялись, наверное, для будущих неотвратимых в женской жизни дамских войн – а на ком еще было и попробовать свой стержовый бабский напор, как не на таком вот существе, волею судьбы вроде бы поставленном над нами, а в сущности же всем своим видом заявлявшем о своей покорности и готовности быть жертвой, ну а дети, как известно, не жалеют жертв.

Как-то на уроке было особенно шумно, весна была, в окна лупило солнце, на перемене все бегали на улицу, вернулись надышавшиеся, румяные, с холодными щеками, а тут Жирафа маячит у доски, что-то карябает мелом, согбенно, стараясь писать пониже, за спиной ее шум, смех, шуршание записок. Она время от времени оборачивается назад, смотрит на нас умоляющим взглядом сквозь свои толстые линзы, потом вздыхает, снова что-то пишет и бормочет – и вдруг усаживается прямо на учительский стол, не на краешек, не робко, а так вот – всей своей огромной попой, с размаху, садится и начинает, как загнанное животное, глубоко и тяжело дышать, а потом выходит из класса, держась рукой за кудельки у висков.

Все притихли. Кто-то сознательный воскликнул звонким голосом: «Довели Жирафу!» Ответом ему было дружное «Шшш-ш-шшш!», потом мы сидели, уткнувшись в учебники, ожидая, что вот войдет грозный завуч, которой конечно же пошла жаловаться на нас Жирафа, и скажет... Но вместо этого вошла учительница из соседнего класса и велела нам сидеть тихо, дескать, Наталье Николаевне стало плохо, урок она продолжать не может. И мы просидели остаток урока тихо, ошеломленные тем, что большой и нелепый механизм, которым представлялась нам Жирафа, дал такой вот человеческий сбой.

На следующей неделе нам прислали новую учительницу русского и литературы, которая уж взялась за нас, так взялась и быстро пробудила в нас если не интерес, то почтение и к многотомным порывам Наташи Ростовской, и к однотомному раскаянию Раскольниковой.

И нет, мы не забыли про Жирафу – нам было стыдно перед ней, нам сказали, что она в больнице, а почему – не говорили как-то. Те же девочки, которые шушукались у нее за спиной, собрали инициативную группу – навестить Жирафу, в шкаф в классной комнате складывали для нее гостинцы – в основном это были конфеты и шоколад. Правда, тут случились весенние каникулы, а после них мы увидели Жирафу в школьном вестибюле – она была в уличной одежде, в пальтеце нараспашку, в своей старомодной шапочке-таблетке из облезлого меха. Была она бледна, кудельки растрепаны пуще обычного, но – она улыбалась, и глаза ее сияли даже за стеклами очков.

– Жи... Наталья Николаевна! Как вы себя чувствуете? Вы на нас не сердитесь? А мы к вам даже в больницу собирались, мы вам, это, передачку собрали.

Кто-то засуетился и сбегал за пакетиком, его тут же вручили Жирафе, она смущенно заглядывала в кулек, мяла его в руках, а потом непривычно смешливо и внятно сказала:

– Девочки, спасибо, мои хорошие, вы сами съешьте, шоколад-то мне нельзя сейчас.

Жирафа снова ходила по коридорам, у нас она больше уроков не вела – ее оставили учить только классы помладше, с которыми меньше было хлопот. Наша Жирафа была «в положении». Как мы ни старались, рассмотреть этого положения в и без того бесформенной фигуре Жирафы было невозможно.

Девочки, конечно, снова ехидничали, сплетничали, гадали, кто же муж Жирафы, кто это ее полюбил так, что она теперь «в положении»? Мужья других учительниц были нам известны: один, усатый офицер, пару раз ходил с нами в походы, неся рюкзак своей субтильной мягкой женушки; другой был капитан дальнего плавания – об этом мы узнавали всякий раз, как щеголиха-биологиня являлась в обновке из «Альбатроса»; пухлую цветущую географичку встречал возле школьного крыльца некий юноша в куртке-«аляске» и нежно брал ее под руку, а она оглядывалась на школьные окна. А вот что за дух бесплотный осчастливил нашу Жирафу, которую и к женскому роду-то отнести можно было с трудом, мы могли только гадать.

Потом настало лето, мы все разъехались, потом собрались снова. Стояли теплые сентябрьские дни, когда учиться еще не надоело, в школу можно ходить, обманывая дежурных, без сменки, во дворе после уроков все играют в мяч, даже надменные девушки-старшеклассницы, проходя, нет-нет да отобьют вроде бы нечаянно посланный им удар. У нас появилось несколько новых учителей, о Жирафе забыли. Однако как-то кто-то из класса, придя утром, сообщил, что встретил ее – с колясочкой, живет она, оказывается, там-то и там-то и, представьте, говорит, что по нам соскучилась, и зовет нас в гости, вот адрес.

И мы отправились к Жирафе, вот так, с портфелями, без сменки, ехали на автобусе, потом шли меж одинаковых пятиэтажек-хрущевок, вот она открыла нам дверь, вот мы вошли в ее маленькую квартирку, встали смущенно возле стены, как в школьном коридоре.

Никто из учителей никогда не приглашал нас домой. Это было не принято. Меж учительской и нашей жизнью проходила строгая демаркационная линия, панибратство в те времена не допускалось. Встретить кого-то из учителей в магазине было странным, где-то в подсознании маячило ощущение нелепицы – «как, она тоже ПОКУПАЕТ ПРОДУКТЫ? ГОТОВИТ? ЕСТ?» Представить себе, что учителя существуют где-то вне школьного пространства, было сложно, хоть мы и видели их мужей – мужья преподавателей тоже, видимо, относились к касте человекоподобных роботов.

А тут мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, в самой такой обычной, бедненькой квартирке самой нашей необычной училки, которая, казалось, вообще должна была существовать только как дух нудного предмета, маячащий, пронсясь под углом к линолеуму, по школьным коридорам. А она, открыв нам дверь, села и взяла на руки своего младенца, мальчика, она сидела и улыбалась, где-то за кухонным косяком мыкался

маленький невыразительный носатый муж, готовя нам чай, а Жи... Наталья Николаевна сидела и ничего не говорила, красавица, осиянная светлыми кудряшками, словно Мадонна. Она, оказывается, была совсем юной, у нее были длинные нежные серые глаза и чудесная улыбка, и все, даже незнакомые с живописью каких-то там старых мастеров, уловили эту вечную красоту материнства, исходящую от нашей Жирафы. Все было в ней совершенно – и узкие плечи, и бережно подхватившие младенца руки, и высокая шея, и пышный круп в широкой домашней юбке, – она была возвышена любовью и своим новым долгожданным счастьем, и она показалась нам невероятно прекрасной.

Ребенок тихо вякал, она переводила взор то на него, то на нас, она теперь могла ничего не говорить, не пытаться внушить нам почтение к прекрасному, к литературе там, к языку, к страданиям каких-то вымышленных героев. Она сама дала нам лучший урок красоты и смысла жизни своим чудесным превращением из Жирафы в королеву, и мы млели от нежности и примирения, и – я помню это – все, все, бывшие тогда в гостях у нее, одновременно улыбались.

Я с тех пор видела много мам и детей, я радовалась за своих подруг, когда у всех у нас случилась общая полоса деторождения, мы ходили друг к другу смотреть на новорожденных, умилялись им, дарили подарки. Я много путешествовала и видела матерей разных стран и народов, по-разному пестовавших своих разного цвета деток. Я видела первую неумелую нежность только что родивших, измученных и счастливых женщин в роддомах, я сама переживала весь этот восторг и все эти открытия, но до сих пор образом вечной женственности передо мной возникает она – сутулая, несуразная, узкоплечая, толстоногая, близорукая, сияющая, нежная, любящая, парящая над крошечным детским тельцем Жирафа, Наталья Николаевна, Мадонна наших школьных времен.

## Подарок

Ася смотрит на телефонный аппарат и не решается взяться за трубку. «Делать это все-таки или не делать?» – размышляет она. Это, конечно, можно будет расценить как приставания. Как потерю ей, Асей, своего женского достоинства. Но с другой стороны, что такого плохого в том, что хочет сделать Ася – она всего лишь хочет подарить подарок ему на день рождения, в этом и вправду нет ничего предосудительного, и она искренне хочет сделать так.

Ася думает: ведь она знает его как никто другой. Да-да, и пусть никто не спорит. Она столько лет думала о нем каждый день, а иначе ведь и невозможно было. И теперь думает каждый день – это уже привычка, ничего тут не поделаешь. И она знает точно, ну точно, что его порадовало бы. И она искала это что-то сначала в магазинах, потом на сайтах. Она уже решила, что лучше покупать подарок через Интернет. И заказывать доставку. Да. Доставку. Тому, кому подарок предназначен.

Ася почему-то сначала радовалась мысли о том, как вот она сама ходит по магазинам, выбирает этот подарок, придирчиво осматривает все возможные варианты, потом представляет себе, как он получает, распечатывает и тоже смотрит, радостно и удивленно, сразу же понимает – только Ася могла купить это вот для него, только она знала об этом его пристрастии. А потом она вдруг сникла, поняв, что, выбрав и купив, и держа в руках, нужно будет как-то и вручить. Это значит – позвонить, как-то сообщить, а если он вдруг не в духе? А если *та* рядом и он вообще трубку брать не будет, а если возьмет, а *та* рядом, и по его голосу сразу же будет ясно, что *она* рядом, потому что его такой родной и теплый голос в *ее* присутствии сразу становится чужим, визгливо-сердитым, «ну что?», «да?», «нет», и все тут, какой там подарок, какой там договориться о встрече. А так было бы хорошо самой вручить, конечно, посмотреть, как он будет улыбаться – он ведь будет, будет улыбаться, он не может ей, Асе, не улыбаться, хотя... и Ася что-то такое вспоминает и тут же сникает, в лице ее появляются страх и сомнения.

Ну да. И вообще, получится же, что она может его подвести, если вот она как-то не вовремя позвонит, например, когда он ну *не может* с ней нормально поговорить. И вот весь этот подарок потеряет смысл, ну совсем, то есть – потому что если у него потом, после Асиного звонка, будут неприятности, то и подарок Асин его совсем не порадует, а может, и рассердит. Нет, будем действовать по-другому, решает Ася.

Ася вспоминает, как он заходил к ней в последний раз, «крайний», как он сам всегда говорит суеверно, но Асе теперь как-то каждый раз, как он заходит, кажется, что в последний. Вот они только сядут за стол, сигаретки закурят, только начнут болтать, ну всего только болтать, ну ведь она же соскучилась и ей хочется с ним поболтать, как тут же мурлычет его телефон и из трубки раздаётся почти такое же механическое, как булькающий этот звонок, воркование – видимо, *та* ищет его, *она* сразу же начинает его разыскивать, как только он переступает Асин порог, чутье у *нее*, что ли, или *она все время* так, вот ужас-то?

И он тут же весь как-то напрягается и становится уже как бы и не он, и начинает виновато как-то собираться. «Ну, я пошел», – говорит он, обувается, а ботинки он выбирает всегда какие-то подобные, отмечает Ася, вот сколько знаю его – всегда что-то вот такое, с ремешком и голенищем высоким, они только раз от раза всё дороже выглядят, а так, если подумать, ну всё те же кеды, как были на нем, когда она с ним познакомилась.

Можно, конечно, подождать, пока сам надумает зайти, но как тогда Ася проведет его день рождения? Вот с этим вот подарком в кладовке? Это грустно, ужасно грустно, думает Ася. Он конечно же вряд ли объявится у нее в свой день рождения, да и накануне тоже вряд ли, это всё будут уж точно не ее дни. А Асе ну так хочется иметь право на то, чтоб и ее подарок он получил именно в день рождения, тогда же, когда полагается подарки дарить и получать, вот.

В конец концов Асе и приходит в голову идея нанять службу доставки, чтоб вручили прямо ему, вот принесли и вручили, и... и пусть не говорят, от кого, да, решает Ася. Он сам-то догадается, что это от нее, он не сможет не догадаться, ну а если нужно будет – совет что-нибудь, ну чтобы не было лишних вопросов, зачем да почему и сколько можно.

Кажется, это будет даже очень романтично, решает Ася, вот и она сама как бы там будет тем самым присутствовать, на дне его рождения, и в то же время останется инкогнито, придет к нему под личиной курьера, в небольшой картонной коробке, да, разворачивай, разворачивай упаковку, вот, видишь, это же я, твоя Ася, узнаешь? Ты узнаешь, ты не можешь не узнать, ну дотронься до меня, подумай обо мне, ну просто подумай обо мне – нет, даже не с благодарностью, просто тепло подумай, пожалуйста! Да? Подумал? С днем рождения, родной мой, ты ведь мне дорог, я тебе предана, и от этого не избавиться так запросто, хотя, может, если бы избавилась, было бы всем легче.

А может, наоборот, подарить что-то такое, чтоб он вовсе не догадался, что это Ася, ну что-то вот нужное, она же ведь знает, знает, всегда знала, что ему нужно, ну да... но чтоб не понял, да, так, пожалуй, правильнее будет. Нечестно как-то делать подарок, рассчитывая еще и на то, что о тебе подумают с благодарностью. Так получится, что она ему подарок дарит не ради него, а ради себя самой, и правда будет то, что он ей как-то в сердцах крикнул – эгоистка ты, наверное, он прав, она все-таки о себе думает, а не о нем. А нужно так, чтоб ну ничем, ну ничем-ничем его не побеспокоить в такой день.

Ася начинает пролистывать сайты. Вот здесь наверняка не подделка, думает Ася сурово. Надо выбирать, где дороже всего. А то знаю я, он и сам как-то делал подобные сайты, тогда, давно еще, вот ведь влез в аферу – торговать подделками, и смешно было, мальчишество какое-то, и боязно за него как-то! Интересно, теперь этим занимается? Надо бы спросить, когда в хорошем настроении будет. Да нет поди, он же сам говорил как-то, что теперь дела у него хорошо пошли, он себя стал совсем другим человеком чувствовать, уверенным и успешным. А когда Ася сказала ему, что скучает, он поморщился так и ответил: «Ну всё, проехали!» – проехали, вот ведь слово-то, от него она раньше такого и не слышала, ужасно это, услышать от него вот это «проехали», наверное, самое ужасное, что можно от

дорогого человека услышать. Интересно, он *той* однажды сможет себе позволить вот так сказать или только Асе нужно было в своей жизни услышать от него такое и понять, что да, все надежды проехали, проехали с орехами?

Ну, хватит тут – сама себе решает Ася и решительно протягивает руку к трубке. Алё, говорит она, набрав первый же номер. Вы доставку можете осуществить?.. Да, привезти вот это тому, для кого куплено... Да, это будет подарок... Нет, как это только тому, кто заказывает товар? Почему же? Ну что за сервис, безобразие какое-то!.. Какую еще бомбу? Ну что вы глупости говорите, какую такую бомбу, мы же в мирное время живем, ну давайте я сама проверю, ну распишусь, вы запечатаете, ну не говорите глупостей, нет, это идиотизм какой-то, подарок человеку нельзя отправить!

Она снова и снова звонит и наконец находит тех, кто готов доставить ее подарок по адресу и в назначенный день, и имя отправителя не называть, вот просто вручить, и все. Но сначала курьер должен прийти к самой Асе, показать подарок ей и получить деньги от нее наличными, и обговорить все условия, вот кому и как звонить, где искать, как объяснить, от кого, – а ничего не объяснять, сказать – вам подарок, получите, распишитесь, и все тут.

Ася уже так разволновалась почему-то, будто и вправду собирается отправлять ему бомбу. А что – приходит Асе в голову ужасная шальная мысль, – вот бомбу, да. И так, чтоб и *та* была именно рядом, чтоб заглядывала, как *она* это всегда делает, с пристрастием: так, кто это что это тебе тут? А там – р-р-раз! – и моргнуть оба не успели, и все. Так, чтоб похоронить их обоих, прийти с охапками цветов, выплакаться, чтоб перестать о нем думать, знать, что его просто больше нет и не будет, нет, он умер, а ее жизнь продолжается, да – *проехали*, именно!

И Ася замирает от ужаса – как ей такое могло только в голову вообще прийти, вот правда, идиотка же сумасшедшая. Нет, нет, храни его Бог, и *ту, ее*, храни их обоих, даже от злых мыслей чьих-то, от дурных возможностей – пусть будут живы оба, долго-предолго, пусть, у него вот день рождения завтра, пусть этих дней будет много-много, а Асе хоть и останется посылать ему вот так, без подписи и знака, подарки, но и это хорошо, это тоже счастье.

Курьер приносит ей коробку, Ася расписывается, распечатывает, сейчас я всё упакую как подарок, хорошо? А вы подождите, я вам заплачу, не волнуйтесь, вот смотрите, я просто в красивую бумагу и еще в одну коробку, и... и... нет, открытки не будет там, и цветов не надо, нет, пока что не надо цветов.

Сейчас, посидите, выпейте кофе. Ну вот, вот я вам здесь расписалась, да, вот здесь имя-фамилия-отчество полностью, а кому вручать что, тоже надо полностью? Ну, Митя его зовут, вы там спросите просто Митю. Нельзя так, вот тут писать нужно, в этой строке? Ну ладно, но это же ему никто не будет показывать? Это для вашей отчетности бумаги? Ну хорошо, всё сейчас заполню, главное, не показывать ему ничего, просто вручить, и все.

Вы постарайтесь так как-нибудь, чтоб рядом не было никого, пожалуйста, ладно? Ну да, чтоб был сюрприз. Ни в коем случае не говорите, от кого! Это очень важно! Вот вам пятьсот, за всё, это вам лично, помимо чека.

Да, вот, пожалуйста, – отдает ручку Ася, – нет, не перепутала, это его фамилия... и моя тоже... ну да, что-то вроде родственников, ага. Ну, спасибо, давайте, отзовитесь, как доставите, я вас очень прошу, вот вам еще сто, вы мне только позвоните потом, хорошо?

Ася закрывает за своим подарком дверь и думает: фамилия. Да, фамилия. У нас с ним одна и та же фамилия. Я ведь, как ни странно, все еще – вот уже пятнадцатый год теперь пошел – его жена. Все еще его жена. И у меня – его фамилия.

Надеюсь, он будет рад хоть немножечко, думает Ася. И на самом деле, я очень хочу, чтоб он догадался, что это мой подарок. Очень хочу. Хотя это уже и совсем не важно.

**Юлия Рублёва**

## Путешествия в одиночку. Египет<sup>4</sup>

### 1

Единственный американец во всей немногочисленной группе пассажиров сел в самолете рядом со мной. Он написал на бумажке: «сок помидор», положил ее на столик и закрыл глаза.

Когда самолет провалился в воздушную яму, я схватила его за рукав.

В этот раз я почему-то очень боялась лететь, вернее, не долететь. Американец открыл глаза, я сказала «Соггу!», и он с акцентом спросил, кивнув на бумажку: «Правильно писал?» Я сказала, что по-русски нужно говорить «томатный сок», он повторил стюардессе. Мы познакомились. Он был ровесник моего младшего брата, звали его Джейсон. Только что женился на русской девушке Лене. Папа Лены – капитан подводной лодки, из Мурманска. Сам Джейсон из Детройта, штат Мичиган. Детройт у меня прочно ассоциировался с романом Хейли «Колёса», брачным предложением, которое я отвергла, и последовавшим за ним отчаянным и густо эротическим письмом отвергнутого, на которое я не ответила.

Так вот, Джейсон и Лена совершали свадебное путешествие. Три месяца в России, три месяца в Европе, три месяца на Востоке – Индия, Китай – и еще три на всяких райских островах. Сейчас они в Москве, я могу им звонить, если что. Джейсон заботливо написал мне номер телефона и электронный адрес. Встречает ли меня кто-нибудь в Москве? Нет. Не встречает. Он озаботился тем, что я не успею доехать на метро до нужной станции – уже ночь, и меня посередине пути из метро выгонят. Мы говорили на миксе русского и английского. Иногда Джейсон доставал электронный переводчик, но чаще всего просил написать слово на бумажке по-русски. Он знал слово «опоздать», но не знал слово «успеть». Весь полет мы писали в его блокнотике.

Мы приземлились, сошли с самолета, сели в длинный желтый автобус, который медленно потащился в сторону метро «Речной вокзал». Джейсон говорил мне: «Давай такси! Платить мой босс! Ты опаздывать!» Метро закрывалось через полтора часа, за час я должна была доехать на другой конец Москвы и попасть в Домодедово. На такси я не соглашалась по необъяснимой причине – я видела, что Джейсона действительно беспокоит, успею ли я доехать на метро, но я уперлась. Он был похож на моего братишку, и мне было странно, что он меня опекает. Мы проехали несколько остановок от Шереметьево. Автобус тащился еле-еле и был битком набит. Джейсон внезапно полез куда-то в левый нагрудный карман, болезненно сморщился и застонал: «Больше не могу! Такси!»

Мы выскочили из автобуса как ошпаренные – я решила, что он не выдержал духоты. Джейсон засмеялся, и мы сели в маршрутку. На такси я не решилась! До сих пор не понимаю почему.

На метро мы успели. Как раз оставался час до закрытия. В вагоне Джейсон сел рядышком со мной и сидел довольно тихо. Он выучил слово «успеть» и приговаривал: «Джулия, ты успела!» Напротив сели двое пьяных мужиков. Мне было страшно – они рассматривали и меня, и Джейсона и гоготали, и я уже думала, как буду с ними драться, если они пристанут. Джейсон мне казался все-таки очень маленьким, к тому же он был как бы у меня в гостях.

В вагон зашла парочка совершенно невообразимых панков: он и она. У него были цепочки от брови к носу и нормальный зеленый гребень. На ее фоне он выглядел обыкновенным. У девицы были черные волосы до плеч и наголо выбритая розовая макушка. Посередине макушки пролежала неглубокая борозда, похожая на разделительную линию между двумя полушариями мозга.

И тут Джейсон громко и очень чисто сказал по-русски на весь полупустой вагон:

---

<sup>4</sup> Издается в авторской редакции.

«Смотри! Голова – как жопа!» Вагон рухнул. Смеялись все. Пьяные напротив утирали слезы и влюбленно смотрели на Джейсона. Девушка вытащила зеркальце и меланхолично рассматривала ввернутый в язык отчетливый блестящий шуруп.

Несчастный провинциальный Джейсон из своего деревенского Мичигана! Он набрал в электронном словаре слово «жопа», потому что я сказала, что это неприличное слово, но словарь выдал белиберду. Мы ввели «попа», и он откликнулся «ass». Джейсон был страшно доволен. На прощание он подарил мне огромный полиэтиленовый мешок, в котором вез костюм на вешалке: «Чтобы ты могла в Домодедово спать на полу». Я отнекивалась, но мешок, напугавшись, взяла. И Джейсон сошел на какой-то станции и поехал к своей Лене, а я без приключений добралась до Домодедова. Было полвторого ночи, рейс на Хургаду улетал через восемь часов.

## 2

Я шлялась по Домодедову и наслаждалась ночью. У меня не было багажа – всего одна небольшая сумка. Я немедленно купила себе Устинову, две новые книжки, поставила сумку на тележку и время от времени выкатывала ее на улицу – покурить. Курила, сидела на тележке, читала, пила горячий кофе из автомата и чувствовала себя счастливой. К утру одна книжка кончилась. В восемь утра я забрала свои документы у представителя фирмы и стала ждать регистрацию на рейс.

И проспала ее, эту чертову регистрацию! Заснула незаметно и теперь взвилась с кресла и заметалась. Регистрация закончилась пять минут назад, только что, «мы сожалеем, идите вон туда, там как раз стойка для опоздавших пассажиров». Я в ужасе понеслась со своей тележкой «вон туда». Я представляла, как с позором возвращаюсь в Уфу, потому что проспала рейс. Или как живу в Домодедове все две недели. Вежливый мальчик за стойкой потребовал триста рублей и заставил расписаться, что я не претендую в самолете на горячее питание. Я не претендовала! Только возьмите меня в самолет.

На билете мне написали гадкое слово «подсадка», и из полноценного пассажира я превратилась в приживалку на птичьих правах. Все это продолжалось недолго, я уселась на свое место и постаралась стереть с лица выражение ужаса. Питанием в полете меня тоже не обделили, и я благополучно пролила на новые белые джинсы яблочный сок.

## 3

Словно попадаешь в горячую духовку! Солнце жарит, вокруг пустыня. Я сразу поняла, что приехала туда, куда мне надо. Так много солнца! В прохладном автобусе меня довезли до «Белла Висты», там, в безлюдном вестибюле, меня встретил рафинированный гид Самир, «можно – Саша», все мне рассказал и объяснил. Без него, Саши, мне лучше ничего не покупать – обманут. В машину к незнакомым дядькам не садиться – увезут. Если в тихом переулке меня пригласят пить каркаде – такой крупный парень с такой крупной золотой цепью, – не соглашаться. «Страшно!» – пугал Саша, вытаращив глаза. Звонить ему в любое время суток!

Номер был дурацкий. На втором этаже. Вместо балкона – странный пяточок, на котором с трудом умещались два стула и больше ничего. Он выходил на некое помещение, которое гудело. Потом я узнала, что это была кухня. Часов в шесть утра оттуда неслись звуки – будто наземь швыряют огромные чугунные котлы. Но это потом. А пока я пошла проведать море.

Теперь это моя любовь на всю жизнь – Красное море.

Такой ласковой и красивой воды я в жизни не видела. Не стихия – домашнее существо. В первый вечер я не выходила на сушу. Выйти было выше моих сил. У меня не хватало сил ни с кем разговаривать, хотя меня то и дело обплывали мужчины и на разных языках пытались познакомиться. Но я для всех была глухонемой иностранкой из неизвестной страны,

улыбалась и молчала. Я радовалась, что приехала одна.

Я завтракала в десять и сразу шла на пляж. На пляже я молчала, спала до обеда, пила чистую прохладную воду из бутылки, купалась, купалась. Море было цвета морской волны, и мне было смешно от этого сравнения. Больше сравнивать было не с чем. Сгорев в первый же день, я укрывалась в тени зонтика огромным полотенцем, дремала, снова шла в воду. Мне нечего было читать и удавалось ни о чем не думать. После пляжа я возвращалась в номер и снова спала там под кондиционером, до ужина. Я отсыпалась – за целый тяжелый сумасшедший год. На ужин я шла бодро, потом немного бродила по городу, просто – рассматривая. Впервые в жизни я была так необщительна и молчалива. Это было очень удобно. Пока у меня не было сил. Вслед мне кричали: «Итальяно? Френч?» Никто не принимал меня за русскую.

#### 4

Однажды утром я проснулась от грохота. За окном швыряли чугунные котлы и орали. Было шесть утра. Применяв все известные мне способы расслабления (вдыхать коротко, выдыхать длинно и прочее бесполезное), я еле пролежала до завтрака. На завтрак наелась сладких булочек и помидоров и впервые вступила в разговор на русском с пожилой краснокожей парой. После чего вместо пляжа пошла на ресепшн. Оба портье за стойкой не говорили по-русски ни слова. Тогда я стала спрашивать на английском: почему у меня в номере нет таблички «Не беспокоить»? Вчера, когда я спала, ко мне вломился бой пополнять мой и без того полный бар! Почему у меня в номере нет больших полотенец и вода слишком горячая, а холодной почти нет? Почему на ужин выстраивается громадная очередь? Почему у меня в номере так шумно?

Портье спрятались за стойку. Я требовала менеджера. Не далее как вчера вечером, когда я возвращалась с прогулки, ко мне привязался в холле господин, представившись владельцем «Белла Висты»! Где он, я хочу его видеть сейчас! Я хочу сменить номер, немедленно. Где мой чертов гид?

Это был четвертый день моего пребывания в Египте. Я очнулась и захотела всего сразу: комфорта, тишины, кофе, громадного арбуза, новых ресторанчиков, чего-нибудь купить и поездку на острова. До гида не дозвонились (до него так и не дозвонились ни разу за все время). Прибежал дядька в очках и на хорошем английском пообещал, что номер сменят немедленно. Повели смотреть новый номер. К груди я прижимала табличку «Не беспокоить». Новый номер был роскошный – напротив бассейна, на первом этаже, с прилегающей к нему террасой. Я сразу же про себя решила входить и выходить через балкон, так быстрее, а красть у меня нечего. Деньги и документы все время хитроумно лежали в потолке.

#### 5

Вечером я послала красивого мальчика по имени Ахмет за телефонной карточкой и арбузом. Он покорно принес мне громадный арбуз, карточку и отказался от чаевых. Это было странно: он все время торчал в холле «Белла Висты», и я не сомневалась, что он мальчик на побегушках. Оказалось, он владелец ювелирной лавки при отеле.

Ахмет был самым приятным парнем из всех мною замеченных. Он не говорил мне коровьим голосом: «Короллива!», не чмокал и не свистел, и даже не предлагал мне купить у него сережки.

Однажды я возвращалась из супермаркета, он стоял возле входа, молча взял меня за руку и потащил в свою темную прохладную лавку. Там он зашипел: «Ты что, Джулия, с ума сошла, это надо спрятать!» И переложил колу, апельсиновый джем и питьевой йогурт из пакета в мою полотняную сумку – в отель нельзя было заходить с продуктами. Он хорошо говорил по-русски, рассказал мне про все окрестные рестораны, обругал за купленный

папирус (ненавижу папирусы, не знаю, почему купила!) и был единственным, с кем мне хотелось попрощаться при отъезде.

...Я повиытаскивала из мини-бара все бутылки и всунула туда теплый арбуз. Через сутки он остыл, я принесла из ресторана нож и огромную тарелку и начала его есть. Он был ослепительно красный. Ослепительно сладкий. Прохладный. Я не могла оторваться. Потом лежала часа два, еле дыша и бессмысленно глядя в потолок. От арбуза осталась четвертушка, и я старалась не вспоминать, сколько он весил.

## 6

Чужой гид Мустафа, подслушав мои вопли на тему «Почему?!..» на ресепшн, остановил меня, когда я шла через отель на улицу. Он объяснил, что мой гид – плохой гид, что вот он, Мустафа, все время находится здесь, чтобы решать проблемы своих туристов. Мы присели на диванчик. Я жалела, что не взяла диктофон. Мустафа блистал остроумием.

– Лула! – вскрикивал Мустафа. – Разве твои проблемы – это проблемы?! Вот у моих туристов – проблемы! Они мне звонят ночью, в три часа. – Он подносил растопыренные пальцы к уху и говорил в воображаемую трубку гундосым озабоченным голосом: – «Мустафа, У НАС ПРОБЛЕМЫ!» Что такое? – испуганно спрашивал он в «трубку». И снова гундосил: – «Мустафа, у нас КОМАРЫ!» Но как же, я же не могу прийти и *брызгать* ваших комаров! – Тут он приглашающе смотрел на меня, и мы смеялись. – А ты, Лула, говоришь – плохой номер! Или вот, звонят в шесть утра! – И он опять подносил «трубку» к уху и говорил в нее: – «Мустафа, мы купаемся, а море... грязное!» – И с комичным отчаянием: – Ну что же, я не могу прийти и стирать ваше море! – Потом доверительно зашептал: – Лула, я им сказал: идите к нашему Мубараку, пускай он стирает море, это его море!

– Я не араб, я египтянин! – говорил Мустафа с пафосом. И объяснял, видя мое изумление: – Арабы пришли в Египет, когда Египет уже был крещен и сюда с Синайских гор уже приходил Христос. У нас была коптская церковь. Теперь – ислам. А я – христианин!

О Христе Мустафа говорил как об историческом, а не религиозном факте.

– Мой дед был генерал египетской армии. Он говорил: «Мустафа, всегда дружи с русскими, они подарили нам оружие!» Поэтому я женился на русской. Потом развелся, и она уехала. Египтянки? Ты знаешь, Лула, никто уже не женится на египтянках! Они скучные! И, – понизив голос до шепота, – не темпераментные...

## 7

Мне запомнилась одна ночь. Я проснулась часа в четыре и вышла на терраску, прихватив из холодильника бутылочку с соком манго.

Вокруг не было ни души, стояла тишина, и было слышно море. Я сидела на терраске и курила. В небе висела луна, похожая на аппетитный оранжевый ломоть сыра. Оранжевым теплым светом светились шары вдоль аллеи – лампочки были спрятаны в кустарник. Было темно, тепло и так хорошо, что я помечтала о собственном доме на берегу моря. Когда-нибудь, в моей условной старости, когда Машка будет взрослая, красивая и замужняя. В этих мечтах навязчиво виднелся ноутбук на деревянном столе под каким-то раскидистым деревом. Видимо, мне всю жизнь будет хорошо возле экрана компьютера. Я надеялась только, что напишу к тому времени что-нибудь стоящее. Например, учебник по рекламе.

По вечерам я продолжала гулять по Хургаде. Я упорно не переходила на русский с продавцами, предпочитая использовать свой маленький английский. Когда-то произношение мне ставила специальная тетенька, и я вполне прилично произносила небогатый запас слов. Я даже научилась шутить и сердиться по-английски. В одной лавочке толстый потный

хозяин ходил за мной по пятам, дыша мне в затылок и пытаюсь прислониться к моей спине. На его шептания я не отвечала. Я уже двинулась к выходу, когда он все-таки прислонился, и я сердито сказала: «Черт! Don't touch me!» Тогда он наклонился и ядовито шепнул: «Руссо туристо облик морале!» Я выпрыгнула из лавочки, и мне стало смешно: кто его научил этой фразе?

Я все время проходила мимо красивого розового «Ле Паши». Там на площади собирался какой-то фестиваль, ездили полицейские в белом на мотоциклах, машины с мигалками, рабочие устанавливали сцену, и вообще была веселая суматоха. Я купила лимонное мороженое и уселась на площади, лицом к улице. В отеле «Альбатрос» через дорогу были красивые витые балкончики. Где я их видела?..

Однажды, когда я возвращалась к себе, от группы парней, стоящей на обочине, отпочковался какой-то тип и увязался за мной. Он схватил меня за руку – я быстро отдернула руку – и проникновенно сказал: «Я хочу говорить с тобой!» – «А я не хочу!» – сказала я. «Почему?» – спросил он. Я даже засмеялась от неожиданности. Поди-ка объясни ему, почему я не хочу с ним говорить! Он тоже засмеялся. Я прибавила шагу, решив не подавать признаков жизни.

По дороге в отель эта сцена повторялась через каждые двадцать метров. Он выныривал из толпы, из-за стоящих машин, когда я уже думала, что отвязалась от него. Я молчала или отвечала сердито и односложно, заходила в аптеки и магазины и пережидала там. Он появлялся и шептал: «Я хочу говорить с тобой!»

Я ужасно не люблю врать, что у меня есть муж, чтобы отвязаться от кого-то. Но тут я сама не справилась. Возле «Аквафана» я придумала сердитого ревнивого мужа, который поджидает меня на крыльце. Я пригрозила этому надоеде, что «муж сразу бьет по лицу». Я даже топнула ногой. Тип отвязался. В отеле меня ждал детектив из серии «Я – вор», выклянченный на пляже, и я предвкушала, как сейчас попью крепкого свежего чаю с молоком и с джемом из сладких апельсинов у себя в номере и буду читать столько, сколько хочу, а завтра спать до обеда. До отъезда оставалось пять дней.

## 8

Я забрела на маленький базарчик. К нему вели несколько ступенек, на которых стояли горшки с кактусами. Мое сердце покорила лавка специй: я всё перенюхала, попробовала и растерла в пальцах. Владельца лавки звали Мустафа. Мы говорили на английском и жестами. Потом пили каркаде и кофе по-турецки. В конце концов перешли на русский. Просидели час. Потом перебрались в лавку напротив, где продавались масла и эссенции. Я схожу с ума от хороших запахов, и там был кондиционер. Владельца этой лавки звали снова Мустафа, имя нарицательное. Мустафы были очень любезны. Маленький, у которого масла, был очень интеллигентный и говорил только по-английски. Длинный, у которого специи, поспрашивал меня про мое семейное положение. Нет ли мужа? Развелась? Уже год? Тогда, наверное, есть бойфренд? Какие простые вопросы. Нет, бойфренда нет, Мустафа. Тогда, может быть... Нет. Рекламу на русском? Рекламу напишу запросто. Это будет стоить \$50. Но могу взять специями и эссенциями. Они радостно закивали, и мы договорились вечером пойти в интернет-кафе.

Мне, бестолковой, нужно придумать себе мужа и заучить наизусть. Я не люблю врать, и мне кажется унижительным придумывать, что меня кто-то любит, когда никто не любит. Но сколько вопросов снимается сразу.

В интернет-кафе я вслепую напечатала вполне приличную рекламку для лавки специй и даже придумала слоган: «Добавь вкуса в свою жизнь!» Первый Мустафа притих и сидел рядом, смотря, как я терпеливо вспоминаю расположение русских букв на клавиатуре. Я проверила свой ящик на мейл-ру, там было письмо от подружки из Баварии, и написала ответ.

Я делала в тот вечер столько привычных жестов, что мне не верилось, что я на другом континенте.

Потом Мустафа тоже полез в почту, а я побродила по кафе. И увидела, как общаются в аськах и чатах с веб-камерами. Один грустно писал на английском: «Я хочу тебя поцеловать прямо сейчас». На его мониторе печальная девушка медленно подняла голову. Изображение тормозило. Видно было, что она дома и что там тоже вечер. Ее освещал только экран. Я зверски стала завидовать, а потом представила, как я в жару сижу перед экраном в старой футболке и в косынке или вовсе неодетая и держу ноги в тазике с холодной водой. Или вру, что пошла на балкончик, а сама обленилась и курю прямо в экран, или плачу, или злюсь, или кричу «Ура!», и всем это видно. Да ну. Лучше так как-нибудь.

И еще один вечер я провела с Мустафой. Он взял с меня обещание, что я приду в субботу и мы пойдем выпьем кофе. И я начисто в субботу об этом забыла. Начисто! И не пошла. Встретились мы только перед моим отъездом. Мустафа очень злился. Чтобы его утешить, я согласилась покурить кальян. Мы выкурили два – с яблочным и клубничным вкусом. Мустафа пялился на меня все время, а когда я грозно к нему поворачивалась, закрывал лицо руками. Он начал свою вольтанку: ведь у меня нет бойфренда? Почему бы мне не пойти с ним на дискотеку? Потому что я вообще не хожу на дискотеки, мне там быстро становится скучно. Может быть, я его, Мустафу, боюсь? Он будет меня охранять, сказал он по-английски. Я его не боюсь. Тогда почему?.. Почему я, разговаривая с ним, все время рассматриваю людей на улице? Они что, мне больше интересны?.. Почему он говорит, что и у него ощущение, будто я куда-то уплываю и его не слушаю? «Difficult women, crazy women», – говорил он мне. Мне было скучно и жалко его. Знакомое ощущение. Дурацкое. Я испытывала к нему симпатию, он был хороший, но он мне не нравился! Я мягко сказала ему, что завтра улетаю и что мне рано вставать. Это было вранье. И ушла.

## 9

Сегодня у меня экскурсия на коралловые рифы. Я сторговала ее всего за 10 баксов. Утром за мной заехал автобус, нас привезли на пляж «Ле Паши» (я в следующий раз хочу в этот отель – так он мне нравится!) и погрузили на корабль, предварительно раздав ласты и маски.

Мы шли полным ходом к первой стоянке, и я разговорилась с девушкой Лилей из Киева. Ее жутко укачивало, а меня не укачивало вовсе. Она призналась, что начало укачивать полгода назад, а ее выставочный бизнес связан с морем, и ей иногда приходится осматривать всякие корабли, и это просто катастрофа. Я ее спросила, не случилось ли чего полгода назад. Случилось, сказала она без подробностей. «У тебя ушла почва из-под ног?» – спросила я. Ее аж бросило в краску, и она принялась меня благодарить – так вот почему всё, действительно, это можно именно так назвать, – и я посоветовала ей хотя бы добровольно не лезть в воду, больше ходить пешком и босиком по травке и, засыпая, представлять лесную полянку, твердую, нагретую солнцем. Наше тело ведь никогда не врёт и порой отзывается самым буквальным образом на всякие проблемы. Я сразу начинаю кашлять и задыхаться по ночам, когда не могу изменить сложную для меня ситуацию или сказать и сделать что-то для меня важное. Я вспомнила, что мой жуткий прошлогодний кашель прекратился на следующий день после того, как мы с мужем решили разъехаться. Если бы я к тому времени не насмотрелась на всякие чудеса со своими клиентками, никогда бы не поверила, что все именно так. Иногда у меня начинают болеть плечи, и это для меня значит – слишком много ответственности, больше, чем пока могу унести. А боли в пояснице всегда предшествует приступ сильной тревоги за свое будущее. Это изобрела не я – насмотрелась в отделении неврозов, когда проходила практику. Поэтому хорошо, если кто-то растирает спину и одновременно ласково и твердо говорит, что все будет хорошо...

А пока я сидела на яхте, курила, на мне были огромная футболка, шорты и кепка. На

стоянке все надели маски и спустились в воду. Море было ослепительно бирюзовым. Я тоже надела маску и прямо в футболке спустилась с корабля по лесенке. Волна сразу хлестнула меня в нос, в рот, я закашлялась, стала сдирать маску, и очередной волной мне смыло линзу! Из правого глаза. Мир сразу стал размытым и перекошенным, я болталась в волнах возле корабля, кашляла и ничего не соображала. И тут, как пишут в дамских романах, я вдруг очутилась в чьих-то крепких объятиях. Я не шучу. Меня подхватил какой-то страшный дядька лет шестидесяти, с черными редкими зубами. Он досдирал с меня маску, прополоскал ее в воде, затянул потуже резинку на ней и снова надел на меня. При этом я сидела на нем и обнимала его, как родного, за шею. Он выдрал из моей маски трубку и выкинул. Потом показал, что все просто: нужно набрать побольше воздуха и быстро опустить лицо в воду. И смотреть. При этом он взял меня за руку, и мы поплыли.

Я не могла ни соображать, ни думать, ни выбирать. В открытом море были волны. Я трусиха, плохо плаваю и боюсь воды. По невнятной команде этого страшного мужика я опускала лицо в воду и смотрела. Он крепко держал меня за руку. Внизу была красота! Я не очень хорошо, но все же видела разноцветных рыб. Кораллы мне показались неинтересными, об один из них я ободрала до крови коленку. Потом я немного освоилась и уже самостоятельно ныряла и выныривала, и дух замирал вот от чего: внизу кораллы, толстые цветные рыбы, а по правую руку страшный бирюзовый обрыв, такой глубокий, что вода там светится, и очень хочется туда... Мы заплыли совсем уж далеко и увидели дайвингистов с видеокамерой далеко внизу под нами. У них был фонарик. Я влюбилась в очередной раз в Красное море. В следующей жизни, с хорошим зрением, я бы обязательно занялась дайвингом.

Мне казалось, что прошло минут пятнадцать, но уже пролетел час, и мы поплыли к кораблю. Дядька пропустил меня вперед и на трапе заботливо снял с меня ласты. Я выяснила, что это не турист, как я думала, а инструктор Алед и в его обязанности входит спасать потенциальных утопленниц типа меня.

На переходе ко второй стоянке ко мне подсел гид Мохамед и зашептал: «Джулия. Сейчас мы пойдем к островам. На острова высаживаться нельзя. Там туристы делают трах». Так он шептал всей группе, всем десяти женщинам и одному мужчине. Я дала ему свой старый «Зенит», который взяла по совету бывшего мужа, и попросила открыть, чтобы сменить пленку. Открывали всей группой, нападали на «Зенит» с ножом, трясли его и ругались. Он неохотно открылся, пленка засветилась, и я вставила другую.

Купание на следующей стоянке я пропустила – сидела на палубе в мокрой футболке, курила и пила колу. Мы с одной тетенькой признались друг другу, что и так хорошо. На четвертой стоянке снова был песчаный остров. Я немного поплавала самостоятельно и на чудесной песчаной косе набрала ракушек.

В какой-то момент по дороге в отель я разговорилась с французом. Он был с тремя детьми. Зовут Паскаль, парижанин. Старший сын у него от первой жены. Она с Мадагаскара. Вторая – с острова Магриб. От нее мальчик и младшая Жюли. Меня тоже зовут Жюли? Это прекрасно. Он оператор, ездит по всему свету, очень любит экзотических женщин. Нет, французенки его не привлекают. Я журналистка? О, очень хорошо. Неужели я из России? У меня хороший английский. Практически бритиш инглиш (в этом месте я чуть не лопнула). А он думал, что я итальянка, когда наблюдал за мной. Он наблюдал за мной, когда я спала в общей каюте. Я тут самая красивая. (Я покосилась на свою футболку, выдавшую виды – я ее не снимала, в воде в косынке, все время в кепке и в темных очках – что он мог видеть?)

Забавно было то, что у нас обоих был ОЧЕНЬ плохой английский. У меня был маленький словарный запас, у Паскаля – такой акцент, что я просила его произносить по слогам. Половину слов он говорил по-французски. Ему было лет пятьдесят, и он был довольно симпатичный. Дети крутились рядом, Жюли мне улыбалась, и я машинально взяла из рук ее брата темные очки и водрузила себе на лоб, рядом со своими. Мне было жутко интересно, справлюсь ли я поболтать на вот эту и вот эту тему, и я кидалась в разговор, как в воду, помогая себе жестами. Описывая пирамиды, я заметалась в поисках английского

аналога русскому «грандиозный» и сказала: «Grande!» – «Это по-итальянски», – заметил Паскаль. Не хочу ли я с ним поужинать? В принципе я хотела, но знала, что потом он захочет пойти со мной в номер, чтобы «делать трах». И ужинать отказалась. Я уже давно, с осени, не испытывала мерзкого чувства, когда после секса чужого мужчину даже не хочется поцеловать. И испытывать не собиралась. Он еще раз уточнил, одна ли я приехала. Я подтвердила, что да, одна, и что, sorry, Паскаль, ужинать я не могу, sorry. Он смирился и, прощаясь на берегу, все-таки ухитрился быстро чмокнуть меня в губы. И я пошла сдавать ласты, бормоча: «Я не буду твоей никогда!» Пока мне еще было смешно.

## 10

В этот же день, вечером, я поехала на Саккалу покупать линзы. В отеле мне объяснили, что оптика находится там. Я почти не видела одним глазом, и, наверное, у меня был совсем беспомощный вид, потому что на мой вопрос про офтальмолога собралась небольшая толпа прохожих. Мусорщик в синем комбинезоне, прохожий в белой рубашке, два больших мужика вышли из кафе, и присоединился один старичок, куривший кальян на ступеньках своей лавки. Они громко орали и махали руками. Я стояла тихо. Потом все чего-то решили и ушли, и прохожий в белой рубашке оказался моим сопровождающим. Он вручил кому-то пакет, который до этого нес в руках, и мы пошли вниз по улице.

Парикмахер Абдул. Мы ходили туда-сюда, везде спрашивали про доктора и линзы, потом сели в маршрутку и куда-то поехали. У него был микроскопический английский. Я старалась молчать и была ему благодарна, что он со мной возится. В оптике линзы нужно было ждать два часа, и они стоили в пять раз дороже, чем в России. Мы потащились обратно на Саккалу в цирюльню к Абдулу. Не хочу ли я массаж лица? Косметический? А еще он мог бы меня подстричь. Бесплатно. Я не хотела. Он угостил меня ледяным каркаде. Я так мрачно молчала, что он начал суетиться. А меня удручало то, что я напрягаю чужого человека, и я думала, не сделать ли мне операцию на глаза и что будет, когда я состарюсь и совсем перестану видеть, и не сядет ли у меня окончательно зрение к сорока годам, и кому я нужна слепая, и много чего другого. Я зависела от линз по всем статьям.

А Абдул окончательно напугался и убежал в глубь своего салона. Потом вернулся и протянул мне коробочку. Я открыла – заиграла музыка. На коробочке были два сердечка, пронзенные стрелой. Подарок, сказал Абдул. Не хочу ли я выйти за него замуж? Я переспросила. Он повторил и погладил меня по плечу. В Хургаде у него бизнес, и дядя у него кто-то, и он может нормально обеспечить семью. Я вскочила и сказала: Абдул, наверное, линзы уже привезли, мне нужны линзы. И мы поехали в оптику, и я торговалась как сумасшедшая, хотя готова была купить их за любые деньги. Наконец я надела мои хорошие, любимые линзы и вновь обрела независимость. Я готова была целовать коробочку от линз. И выйдя из оптики, я села в первую маршрутку и поехала к себе в отель, бесцеремонно бросив Абдула.

Перед отелем я купила в супермаркете воду и пошла к себе. На улице меня остановил очень интеллигентный дядечка, спросив о чем-то невинном. И понеслось!.. Он одинок и разведен, сегодня начало фестиваля. Не хочу ли я?.. Он инструктор по дайвингу, не хочу ли я?.. Я затрясла головой и побежала к отелю.

Вечером мне было плохо. На корабле меня не укачивало, а тут комната зашаталась и поплыла, и я не могла ее остановить. Я лежала на кровати, закрыв глаза, и чужие мужчины тянули ко мне руки, и инструктор Алед, скаля черные зубы, приговаривал «песок, песок», пытаясь залезть мне под футболку. Я устала от Египта и очень хотела домой.

## 11

Потом была суббота, и я впервые не пошла купаться. И не пошла на завтрак. У меня был детективчик, и до обеда я валялась в номере и его читала. Сегодня я совсем никого не

хотела видеть. Потом детективчик кончился, и я отправилась на охоту.

Я добывала книги на русском разными способами – перерыла книжный стеллажик на пляже, клянчила у загорающих «почитать вечером» и даже однажды выпросила недочитанную книгу у девочки, которая сидела в холле отеля возле чемоданов.

Но сегодня был на редкость удачный день! Во-первых, один дядька на пляже дал мне сразу две книжки. Я давно его пасла. Потом я кралась между лежаками и высматривала маленькие томики. И вдруг увидела бесхозную книжку. На лежаке никого не было. Я кинулась и схватила. Аннотация: «Жена известного писателя... Писатель оказался спецагентом...» Это не воровской роман и не рассказ из жизни дембелей с фразой «горизонтально лежащий»!

Я положила книжку обратно на лежак и притаилась в засаде под соседним зонтом. Пустая бутылка из-под пива и отсутствие шлепанцев возле лежака с добычей меня вдохновляли. Честно выждав минут пятнадцать, я схватила книжку и унеслась в номер.

Мне хватило ее на сутки, и я была счастлива.

А потом я перепутала числа, и однажды вечером мне позвонили с ресепшн и сказали, что я завтра уезжаю. Я очень удивилась – думала, что у меня есть еще один день.

И в последний день я снова была на море, купила арбуз и угостила Валентину – филолога-переводчика из Москвы. Мы с ней буквально обрели друг друга утром этого дня и не могли наговориться. Мы говорили о литературе часа три, обсудили Толстую, качество переводной литературы и структуру английского языка. Я призналась ей, что, если бы у меня хватило жизни, я бы обязательно стала переводчиком. Она заметила, что я очень точно и правильно воспроизвожу английские интонации. Впрочем, так же точно я могла повторить любую бессмысленную фразу на любом языке. Мой режиссер был от этого в восторге. Я его вспомнила и с ужасом и облегчением поняла, что своей передачей заниматься больше не буду.

Вечером в аэропорту Хургады я заполняла таможенную декларацию и услышала назойливую музыку – звонил чей-то мобильный. Это длилось довольно долго, и я удивлялась, что хозяин не слышит. И вдруг поняла: музыка доносилась с самого дна моей сумки, и это была чертова музыкальная шкатулка, брачный подарок Абдулы-парикмахера! Зачем-то я ее поперла с собой, а ведь хотела выкинуть! Я вывалила все вещи – несчастная коробочка с отломанной крышкой продолжала играть. Остановить ее я не могла, крышка на место не ставилась, я нашла какую-то кнопку, нажала – музыка стихла. Я, не убирая пальца с кнопки, взяла сумку и шла вперед, пока не поняла, что похожа на террориста-смертника с пультом управления от бомбы. В аэропорту! Я судорожно выкинула шкатулку в урну – она заиграла. Люди стали оборачиваться. Я, страшно проклиная все на свете, извлекла ее назад и снова нажала кнопку. Так я и шла до стойки досмотра багажа. Там я продемонстрировала возможности шкатулки парням в черной форме, они увлеклись, и я очень удачно ее подарила.

## 12

А потом я прилетела домой. Загар с меня уже сошел, и я скучаю по солнцу, морю и арбузам. В какой-то момент, лежа в Египте на пляже, я сказала себе: «Запомни, какое здесь солнце. Тебе должно хватить на осень и зиму».

**Сергей Узун**

**Краткие сведения об устройстве этого мира  
Предисловие к учебнику мирологии для особенных девочек**

Милая, бесконечно милая девочка!

Мы создали для Тебя этот учебник, чтоб научить Тебя...  
(Ой-ой-ой... Конечно же не научить! Ты ведь умная и все знаешь лучше.)  
...чтоб помочь Тебе правильно пользоваться этим миром.

К своим девятнадцати годам ты, несомненно, уже знаешь, что много миллионов лет существования этого мира были всего лишь подготовительным этапом для появления на свет Тебя. Теперь весь этот мир навеки Твой. Вот она! Вот эта ничтожная планета, для которой Ты слишком прекрасна. Вот Твой мир! Он стоит у Твоих изумительных ножек и скулит в ожидании шанса угодить Тебе.

Этот мир прост, как процесс покупки сигарет в ближайшем ларьке. Он прост, как наряды Твоих лучших подруг. Он беспорядочен и безвкусен, как их прически. В этом мире проживаешь Ты и остальные людишки. Людишки делятся на:

- а) женщин;
- б) мужчин.

Женщины, как правило, лучше, умнее и выносливее мужчин. Это известно всем. А те, кто оспаривает эту Истину, пусть пойдут и попробуют родить.

Женщины этого мира разделяются на:

- а) Тебя;
- б) некрасивых;
- в) некрасивых задавак, которые одеваются как дуры, ведут себя как дуры и слишком много воображают о себе.

Различаются несколько видов некрасивых женщин: подруги, незнакомые и звезды шоу-бизнеса (модели там всякие, Дженниферы Лопесы толстые, Анджелины Джолли старые и прочая шваль). Подруги – это такие некрасивые женщины, которые знают, что Ты красива и умна. Незнакомые некрасивые женщины – это такие женщины, которые делают вид, что Тебя не замечают и не завидуют Тебе. Звезды – все как одна некрасивы, и вообще непонятно, почему вокруг них такая шумиха. Существование некрасивых женщин – звезд шоу-бизнеса говорит нам о том, что в газетах, журналах, кино и на телевидении работают дураки, которые снимают всяких дур, а не Тебя.

Некрасивые задаваки, которые одеваются как дуры, ведут себя как дуры и слишком много воображают о себе, отличаются от некрасивых женщин тем, что они хоть и осознают Твое превосходство во всем, но не признаются в этом и даже наоборот – думают, что они умнее и красивее Тебя. Ха-ха-ха. Ржем всей редакцией. Это ж надо быть такими...

Ну на этом и хватит об остальных женщинах. Чего о них много говорить? Было б о чем говорить хоть.

Мужчины.

Мужчины существуют двух видов – те, с которыми Ты встречалась, и несчастные лузеры. Оба этих вида объединяет одно: они все Тебя хотят. Ты знаешь это точно.

Если мужчина говорит Тебе: «Доброе утро», – он хочет с Тобой переспать.

Если мужчина говорит: «Сержант Иванов. Предъявите свои документы», – он готов продать все свои органы за возможность притронуться к Твоей талии.

Если мужчина говорит: «Как у тебя, простиоспади, овцы, получилось удалить все со своего компа?» – это животное только и думает, как затащить Тебя в постель.

Если мужчина, совершенно незаслуженно назначенный Твоим начальником, орет на Тебя, багровея лицом, по поводу какой-то невыполненной работы и потом увольняет Тебя со словами: «Если ты еще раз попробуешь войти в этот офис, я тебя убью!» – он мстит Тебе за то, что Ты ему не отдалась, несмотря на его настойчивые «Доброе утро» каждый день.

Если вдруг в какой-то момент ни один из мужчин на Тебя не смотрит мечтательно и не пытается с Тобой заговорить, спроси у любого из них: «Который час?», выслушай любой

ответ и скажи ответившему, что Ты уже устала от сексуально озабоченных людей вроде него.

Если спрашивать не у кого – напиши кому-нибудь незнакомому в аське «Приветики!» Дождись любого ответа и объясни ему, что Ты думаешь о маньяках. А можешь написать «Приветики» и не отвечать больше. Пусть помучается проклятый извращенец!

Среди мужчин существуют исключения. Например, Джонни Депп. АААААААА. Визжим всей редакцией! Он такой ду-у-у-ушка-а! Не то что все эти маньяки вокруг. С другой стороны, всем и даже Джонни Деппу понятно, что, если он вдруг Тебя увидит, он будет Тебя вожделеть и навсегда останется с Тобой!

Есть еще несколько простых, общеизвестных Истин.

1. Ты всегда знаешь лучше, как должно быть, как правильно и кто чего стоит. Тот, кто с Тобой спорит, – просто смешон и тупой.

2. Ты была в детстве ТАКОЙ хулиганкой!

3. Эта страна не для Тебя. Здесь слишком все плохо и люди злые. Скоро приедет Джонни Депп и увезет Тебя в любую другую страну. Там все будет хорошо и люди культурные.

4. Те, кто хвалится своим умом и образованностью, на самом деле просто понтуются. Ну или заполняют чтением всякой муры свое уродливое одиночество. Ха-ха-ха. А чем им заниматься еще?

5. Самая продвинутая музыка – в Твоем плеере. Там Земфира, Роби Вильямс (АААААА! Он такой душка-а-а!!!), диджей Тесто и «Рамштайн»! Это очень круто и модно. А кто думает, что бывает музыка получше, тот – сельский колхоз и в музыке не понимает ничего!

6. Официанты – дураки и быдло! Их попросишь чего-нить прикольненького на десерт, а они несут профитроли, когда каждому известно, что прикольненькое – это мороженое. Ничего! Вот приедет Джонни Депп...

7. Когда Ты колбасишься на дискотеке, все останавливаются и смотрят ТОЛЬКО НА ТЕБЯ! А Ты такая – оп-па! И колбасишься.

8. Когда Ты приезжаешь на море и загораешь в своем АФИГИТЕЛЬНОМ КУПАЛЬНИКЕ, мужчины стесняются встать с покрывала, где они лежат на животе, и смотрят только на Тебя. А сами, главное, с женами приехали.

9. Говорить «претики», «мну», «как дилишки», «я халосая дефачка» – прикольно и признак искромотно-веселой девочки и безбашенной приколистки.

10. Когда Ты идешь по улице или офису, мужчины очень жалеют, что нельзя лечь на живот.

11. Если вдруг неподалеку начинается стрельба – это кто-то ссорится из-за Тебя или Ты послала пару знакомых наказать какого-то придурка.

Ну вот, в общем, и все, что мы хотели Тебе рассказать об устройстве этого мира.

С восхищением, любовью и преклонением, Твоя редакция.

## Рыцари

Однажды Прекрасные Дамы поняли, что белые кружевные платочки не только для насморка, но и чтобы махать ими кому-то. Махать с балкона платочком всяким пейзанам и солдафонскому быдлу было глупо, поэтому появились рыцари.

Рыцари – это такие мужчины, которых хлебом не корми, а дай совершить какой-нибудь подвиг. Во имя дамы. Некоторые дамы немного неуютно себя чувствовали, когда один рыцарь во имя них рубил в капусту другого рыцаря, но потом быстро освоились и даже внушили рыцарям, что шрамы украшают. После этого псевдорыцари-метросексуалы то и дело норовили тюкнуть себя топором в хлебало и тем самым украсить вышеупомянутое

хлебало до состояния мужественного лица.

В одной небогатой королевской семье как-то выдался год, урожайный на Ричардов. Уродились завзятый пьяница Ричард Львиная Печень, обжора Ричард Львиный Желудок, два дыхателя: Ричард Львиное Левое Легкое и брат-близнец его – Правое Легкое (тоже, разумеется, Львиное; тоже Ричард), соглядатай Ричард Львиный Хвост, завистливый Ричард Львиный Глаз, вечно смеющийся Ричард Лошак (львы не ржут потому что) и отважный Ричард Львиное Сердце, который и возглавил орден рыцарей. Хотя ежу понятно, что управлять рыцарями должен был Ричард Львиный Мозг.

Первоначально они были рыцарями Квадратного стола, но после того как Ричард Львиное Сердце придумал увлекательную рыцарскую забаву «кто на углу сидит – тот дурак», появился орден Рыцарей Круглого стола.

Рыцари вечно хотели найти Чашу Грааля, Гроб Господень и прочую религиозную символику, но поскольку не имели представления, как выглядят эти реликвии, тырили в походах на всякий случай все что плохо лежит. То есть женщин. Ну и ценные вещи до кучи.

Каждому рыцарю полагалось от одного до бесконечности оруженосцев. Встретятся, бывало, два рыцаря. Один, допустим, рыцарь Изящного Сквернословия В Нетрезвом Виде, а другой – рыцарь Удивленного Созерцания Мира Своими Глазами. И давай выяснять, чья Дама Сердца прекраснее.

– Моя уродливее! – кричит один.

– Нет! Моя! – возражает другой.

– Сейчас я с вами сражусь за ваше паскудство подлое, сэр рыцарь!

– Сейчас я вам сражалку на ходу обрублю!

И давай готовиться к сражению. К каждому сбегаются оруженосцы, и начинается крик: «А вот! Вот копьё замечательное!», «У меня возьми меч, благодетель!» Потому что оружие тогда было тяжелым и таскать его было трудно и запахло.

Рыцари вооружались, обменивались фотками Прекрасных Дам и с досадой ломали копьё об колено. Потом приезжали домой и говорили: «Я за тебя сто копеек сломал». Казалось бы, нонсенс – радоваться из-за погубленного оружия, но дамам почему-то было приятно.

А доспехи придумал рыцарь Пугливое Чмо. Сначала он, конечно, ходил как все – со щитом. Потом понял, что его могут поразить в спину, которую он бесстрашно показывал врагу, и привязал на спину второй щит. Заодно решил обезопасить фланги и с боков тоже привязал по щиту. Ходить в такой кабинке для переодевания было неудобно, зато безопасно. Встреча с рыцарем Принципиальной Упертости усовершенствовала доспехи. Потому как рыцарь Принципиальной Упертости так долго пытался достучаться дубиной до противника, что все четыре щита начали элегантно облетать рыцаря Пугливое Чмо. Так, благодаря рыцарю со страхом и упреком, появились первые рыцарские доспехи.

У рыцарей был свой Кодекс Чести.

1. Рыцарь – это рыцарь, и нечего тут больше объяснять.

2. Если тщедушный Не-Рыцарь назовет Рыцаря консервированным солдатом, разрешается кинуть в тщедушного не-рыцаря копьём. Если не-рыцарь здоровенный – драться с ним ниже достоинства рыцаря, как бы это двусмысленно ни звучало.

3. Если рыцарь назовет рыцаря консервированным солдатом, рыцарю надлежит гордо сказать: «На себя посмотри», – и кинуть копьём в качестве устрашения в ближайшего тщедушного не-рыцаря.

4. Даму можно считать Прекрасной, если у нее есть платочек и балкон для махания с него.

5. В случае отсутствия платков и балконов любую даму можно считать прекрасной.

6. В случае отсутствия дам рыцарю надлежит ехать туда, где дамы присутствуют, а не назначать Прекрасными Дамами оруженосцев, других рыцарей и, как говорится, тэдэ.

7. Рыцарь и без коня – рыцарь. Конь без рыцаря – животное.
  8. Закрыл забрало – закрой и поддувало.
  9. Взял в руки меч – надо и внимание привлечь.
  10. Ткнул в глаз копьём – вечером с одноглазым пьем.
  11. Помятый доспех – противника смех.
- Кодекс этот рыцари чтут и чтам, чтут и чтам, по утрам и вечерам.

## Романтизм

«Эсэмэска! Эсэмэска!» – заорал Петькин телефон в одном из многочисленных карманов.

– Иванов! Выключи немедленно! Сколько раз говорить! – гаркнула географичка.

– Да, да. Я всегда выключаю. Сейчас вот, – пробубнил Петька.

Эсэмэска была от Леночки: «Петя, я решила согласиться на твоё предложение быть твоей девушкой. Ты правда готов ради меня на все?»

«Конечно! Все что скажешь!» – радостно отбил ответную эсэмэс Петька.

– Нам пишут! – закричало с Леночкиной парты.

– Соколова! – укоризненно сказала географичка.

– Извините! – пискнула Леночка. – Я выключу.

«А до дому проводить?» – пришла эсэмэска от Леночки.

«Засмеют ведь, – подумал Петька. – А и пусть».

«Хоть на край света!» – отправил он пылкий ответ.

«А в телефоне меня записать как любимая?» – пришло от Ленки.

«Блин. Не дай бог кто-то увидит», – подумал Петька и начал писать ответ.

«Ты с самого начала там так и записана!» – соврал он и исправил в записной книжке «Леночка» на «Любимая!!!»

«А ты сможешь ради меня не спать всю ночь?» – пришло что-то странное от Леночки.

«Ха-ха-ха. А как ты это проверишь?» – развеселился мысленно Петька.

«Я и так ночей не сплю – о тебе думаю» – отправил он.

«А Бякину морду набить? А то он меня вчера козой обозвал» – озадачила Леночка.

«Сеньке морду набить? – задумался Петька. – Договорюсь с ним. Пусть для вида на меня обидится. А ей скажу, что у дома его подкараулил».

«Сегодня ему капец! Я ради тебя на все пойду» – ответил он.

«А на руках сможешь вокруг стадиона обойти?» – поинтересовалась Леночка.

«Смогу! Год буду тренироваться, а смогу!» – отбил Петька.

«А прыгать на одной ноге с моей куклой Барби и мычать романтично?»

«С ума сошла, что ли?» – удивился Петька и начал думать, как лучше ответить: «Ты издеваешься?» или «А зачем это?»

«А сможешь ради меня кидаться ананасами в проезжающие мимо поезда?» – пришла еще одна эсэмэска от Леночки. После этого плотину прорвало, и эсэмэски посыпались градом.

«Сможешь прилюдно покаяться за мат Гагарина при старте ракеты? Ради меня!»

«Готов ли ты ради меня податься в калькуляторы и быть верным таблице умножения и деления вовеки веков?»

«Возьмешь ли ты ради меня интервью у самого старого аллигатора планеты?»

«Сможешь ли ты во имя меня всю жизнь восторгаться брачным обрядом мышей-полевок?»

«Петенька, придумай ради меня песню из девятисот семидесяти одного куплета и всего двух припевов. Песня на латыни, разумеется».

«Петя, готов ли ты объявить себя арабским скакуном во имя меня и славу рыцарства?»

«Милый Петенька, не томи, сможешь ли ты пройти во имя меня экзамен на слесаря-спортсмена 4-го разряда?»

«Петр, я волнуюсь, сможешь ли ты ради меня плевком сбить звезду не меньше голубого гиганта с ночного неба?»

«Что это за...» – не понимал Петька.

– Иванов!! Ты меня не слышишь, что ли?! – вернул его к жизни голос географички. – Я тебя спрашиваю. Отвечай!

– Я не слышал вопроса, Марьванна, – покраснел Петька.

– Куда впадает Лена? – спросила географичка.

– В маразм! – твердо ответил Петька и показал Леночке язык.

## Пастораль. Женский день

– Вы позволите, голубушка? – Граф галантно наклонился к Графине и вновь облил ее горячим кофе.

– Ай! Сударь, да сколько ж можно? – вскочила Графиня. – На мне же уже живого места нет. Издеваетесь вы, право. Хоть и граф.

– Помилуйте, Анна Афанасьевна, – сконфузился Граф. – Привычки же никакой. Вот и неуклюже выходит все. Ну вы тоже хороши. Нет чтоб порыв оценить. Вот так и гибнут позитивные начинания.

– Порыв!!! Я оценила порыв. Первые три чашки – оценены. Но на мне уже пять чашек кофея, а внутри всего половина. Это кошмар просто какой-то.

– Что подделаешь, дражайшая, – вздохнул Граф. – День такой. По новомодному обычаю нонче мужчины должны еду не только дамам, но и бабам подавать. А в доме у меня из мужской обслуги – Васька-конюх только. И тот пятого дня запил и валяется невесть где. А кухарка с горничной – бабы. Невозможно их заставить. День такой.

– Кстати... – смущенно заурчала животом Графиня. – Я бы поела, ваше сиятельство. Вот ей-же-ей поела бы. Вот прям без церемоний бы всяких.

– Дунька! Пожра-а... – закричал было Граф, но осекся и вздохнул. – А нельзя, матушка. Нельзя. Ибо Дунька – баба. Нельзя ей к плите сегодня. Розгами отогнал сегодня бабу неразумную. И ведь кричу ей: «Твой день сегодня, дура! Нельзя! Сегодня мужчины у плиты!» Не понимает, плачет только да тюльпан подаренный жует. До чего ж темная баба. А в доме – шаром покати. Из готового – только масло есть. Сам проверял. Дуньке розог всыпал опять же за то, что запасу никакого. Хлеба даже не пекли ведь.

– А может, в ресторацию? – подмигнула Графиня.

– На чем? – хмыкнул Граф. – Васьки ж, подлеца такого, нет уже который день. А своего вы отпустили невесть зачем.

– Так сами и сготовили бы, – топнула ножкой Графиня. – Раз уж день такой.

– Так ведь первый раз день такой, – удрученно сказал Граф. – Непривычно, матушка. Что сумел – сготовил. Себе, бабам из прислуги. Радовались, подлые. Еще бы – барин сам готовит.

– Что ж вы приготовили, умелец? – всплеснула руками Графиня.

– А кофеек вот. Вы позволите? – вскочил Граф и облил Графиню кофе.

– Ох, – вздохнула Графиня и задумчиво куснула тюльпан. – Что ж не сидится суфразжисткам-то этим? Понавыдумывают дней каких-то.

– Угу, – кивнул Граф. – А манкировать нельзя. Скажут – ретроград, то-сё.

– Куда катится этот мир? – вздохнула Графиня и вдруг засмеялась, указывая на окно: – Глядите, глядите, граф! Что это делает ваша Дунька? Потешная такая.

– Это ее, душа моя, дурнит-с, – хихикнул Граф. – Она ж весь день, окромя кофея, ничего не ела. А у простой бабы организм к культурным напиткам непривычный. То ли дело у вас.

– А кстати... А то, граф, может, водочки? – осенило Графиню. – А за огурчиком да капусткой вы в погреб запросто и сбегаете. А?

– А что? – вскинулся Граф. – Это я запросто сейчас... Это мы мигом.

– Беспомощные совсем, – прошептала Графиня, наблюдая, как Граф бежит к погребу. – Без нас помрут совсем.

Из погреба раздались испуганное мычание, звон посуды и яростный крик Графа:

– Васька! Ах ты подлец!!! Я тебе покажу, как хозяйскую водку пить! С-с-сволочь! Вот взял моду – в женский день в погребе прятаться!